



КАРНАЗ

В ПЛЕНУ
У ГОРЦЕВ



Сборник
Кавказ. Выпуск XIII.
В плену у горцев

Редакция журнала "Эльбрус"

2013

УДК 83.3 (2Рос-Рус)1

Сборник

Кавказ. Выпуск XIII. В плену у горцев / Сборник — Редакция
журнала "Эльбрус, 2013

ISBN 978-5-93680-478-6

В очередной том серии «Кавказ» вошли работы, содержащие воспоминания кавказских пленников. Тема захвата в плен людей на Кавказе – весьма щепетильная: работ, посвященных ей, в кавказоведении не так много, хотя в русской литературе она представлена самыми знаковыми именами. Поэма «Кавказский пленник» Александра Пушкина и повесть с одноименным названием Льва Толстого – классические произведения этого направления. Но куда менее известны, а по большому счету совершенно неизвестны мемуарные труды тех, кто непосредственно сам оказался в плену, изложив увиденное и пережитое в записках, воспоминаниях, дневниках. Такая литература, созданная преимущественно в XIX веке, обширна и многообразна, более того, во многих аспектах, прежде всего этнографическом, представляет немалый интерес и сегодня. Проблема в том, что она практически недоступна: воспоминания, напечатанные в журналах, часто провинциальных и малотиражных, и по этой причине ставших библиографической редкостью, не известны не только массовому читателю, но порой и специалистам. В данном издании, выходящем в двух томах, они впервые собраны вместе. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 83.3 (2Рос-Рус)1

ISBN 978-5-93680-478-6

© Сборник, 2013

© Редакция журнала "Эльбрус, 2013

Содержание

Том I	7
От издательства. Отбросив груз вины и обиды...	7
Симон Петлюра. Полтавский семинарист в плену у горцев	10
Максим Кофанов. В плену у горцев. В 1830 и 1831 годах	13
Лев Екельн. Из записок русского, бывшего в плену у черкесов	19
Сергей Беляев. Дневник русского солдата, бывшего десять месяцев в плену у чеченцев	25
I	25
II	30
III	36
IV	43
V	47
VI	56
Иван Загорский. Восемь месяцев в плену у горцев	61
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Кавказ. Выпуск XIII. В плену у горцев

© Издательство М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфсервис и Т»), 2013

© М. и В. Котляровы, составление, предисловие, 2013

© Ж. А. Шогенова, оформление, 2013

Том I

От издательства. Отбросив груз вины и обиды...

Николай Рерих как-то сказал, что всеми дорогами прошлого пройти невозможно. Но есть такие, которые не обойти, они существуют и требуют осмысления, точного знания всех поворотов, чтобы события, происходящие на этих путях, не ушли в дымку односторонней трактовки либо полного замалчивания. Особенно это важно, когда речь идет о войнах, их последствиях, жертвами которых становятся целые народы, живущие в тех временах и на тех территориях, где сталкиваются интересы государств и обычных людей, весьма далеких от политических и иных притязаний воюющих сторон. Страдает сознание и историческая память их близких и дальних потомков, воспитанная на рассказах, мифах и стереотипах, составленных из политических или идеологических вехий того или иного периода.

Груз вины или обиды нередко превышает способность объективной оценки явлений не только далекого прошлого, но и современности. У каждого был и будет собственный оценочный аппарат, и это следует считать нормальным.

С этих позиций, видимо, и следует рассматривать доступные на сегодня документы, литературные опыты и личные воспоминания людей, побывавших в плену у горцев в период Кавказской войны. Некоторые сюжеты знакомы уже со школьной скамьи из рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник» или одноименной поэмы А. С. Пушкина. Другие не так ярки, не столь опозитизированы, берут за душу перенесенными страданиями и неожиданными переплетениями судеб, когда люди разных психологических установок, разных миров, по сути дела, оказываются в таком близком и тесном общении, что уходит ненависть, стираются понятия «враг», «раб», «гяур», а остается главное: желание смягчить страдания или даже избавиться от них, рискуя собственным благополучием. «Мир не без добрых людей», – часто повторяет бывший пленник Шелест («Семь лет в плену у горцев»), на собственном примере свидетельствуя, что внешние обстоятельства бывают сильнее личных желаний и чувствований, но свет человеческой солидарности все же помогал не опускаться окончательно в бездну отчаяния и безнадежности и верить, что когда-нибудь удастся вернуться домой.

Испытания закаляют волю, способствуют духовному развитию. Десятимесячный плен солдата С. Беляева («Дневник русского солдата, бывшего десять месяцев в плену у чеченцев») сделал из него философа: «Видя в горцах тех же людей и смотря на их вечерние молитвы, когда человек, как бы прощаясь со светом, отдается тьме, ... я родился с ними. А всякое признание Бога, в ком бы оно ни было, порождает в нас какое-то сострадание; я предался моим мечтам и был еще доволен, что судьба так милостиво водит меня по извилистым путям, я приятно забывался!.. Сами мы бываем причиной своего горя, и если бы мы постоянно любили друг друга, не видели б суровых дней. Когда человек весел, ему все братья. Откровенно говорю я о состоянии души моей, когда мне было весело и когда тяжело. Было весело – когда надеялся, и тяжело – когда сомневался. Жизнь моя у горцев была переменчива, и тоска моя об этом была наказанием за грехи мои».

Пленение происходило по-разному – солдаты и временами офицеры становились добычей горцев не только на поле боя, но и по дороге, и при купании лошадей, и при прямом содействии похищению некоторых военных и гражданских лиц, получающих свой процент от похитителей. Нормой был массовый увод в плен женщин и детей из приграничных русских станиц. Казачек и их детей можно было обратить в рабов, можно было продать или выменять на попавших в русский плен горцев. Кто-то оставался навсегда среди горского населения, женившись

или выйдя замуж, родив детей и почти забыв родной язык. Особенно это касалось маленьких детей, которые практически не помнили, откуда они и кто их родители.

В общем, и в плену у каждого была своя судьба. Некоторым посчастливилось освободиться в скором времени, если выпадал шанс побега или варианты обмена. Другие томились в неволе годами. Они хорошо изучали нравы и обычаи своих хозяев, религиозные обряды, что позволило, в том числе, довольно подробно изучить этнографию народов Северного Кавказа.

Наблюдая жизнь и быт селений, наиболее образованные пленники смогли сделать вывод о реальном положении горцев, их вольном духе, нежелании кому-либо подчиняться, кроме собственных адатов, практически все отмечали невысокую религиозность горцев при повсеместном презрении к иноверцам, что вполне понятно и объяснимо военной политикой Российской империи, стремящейся навязать кавказским народам собственные законы, дабы укрепить южные границы государства верным ему населением.

А население между тем хотело быть свободным. При этом ничто не мешало горцам смотреть на своих пленников как на людей, не заслуживающих иной участи, как рабства. Пленных заковывали в кандалы, на ночь привязывали цепью, кормили впроголодь. И если была какая тяжелая работа, то заставляли ее исполнять, невзирая на самочувствие или физические возможности. Справедливости ради надо все же вспомнить о тех русских помещиках, которые до 1861 года могли позволить себе практически такую же жестокость по отношению к своим крепостным, а именно: и кандалы, и цепи, и изнурительный труд, и унижение голодом и побоями, и продажу крестьян и их детей не вместе, а порознь. От таких помещиков крепостные бежали на юг или в Сибирь, их, разумеется, ловили, и если это случалось, наказание было страшным.

Кавказские пленники тоже убегали, некоторые делали это неоднократно, но успех сопровождал немногим, так как люди плохо знали местность. Горы, леса и реки были естественными барьерами, да и окрестное население солидарно помогало в поимке бежавшего – рассчитывать на помощь случайных встречных не приходилось. Все знали, что в случае поимки раба получают вознаграждение.

Тем не менее, побеги планировались и бывали случаи, когда от начала до конца силами как раз кого-то из хозяев. Иногда на почве взаимной симпатии, иногда из чувства благодарности неким казакам, которые также помогли кому-то освободиться из русского плена.

Проходили дни, недели, месяцы, а то и годы плена. Случалось так, что военный и хозяин, связанные общим бытом и общей трапезой, начинали доверять друг другу, в чем-то сострадать и даже видеть неестественность несвободы. Таких трогательных моментов немало в литературе, посвященной плену. То тут, то там встретится обращение хозяина к рабу с предложением принять магометанскую веру, жениться на аульчанке и стать одним из горцев. Кто-то, конечно, соглашался, но большинство хотело домой, где были родители, жена, дети. Если была хотя бы малейшая возможность выкупиться из плена, ею не пренебрегали.

Одна история стоит особняком («Полтавский семинарист в плену у горцев»). Не только потому, что герой ее семинарист, впавший в меланхолию, решившийся добровольно переплыть Кубань и там, на другом берегу, навсегда остаться. Разумеется, его полонили черкесы и в очень скором времени обменяли «на 50 пудов соли по 50 копеек». Но и потому, что к этому несчастному пареньку, его безрассудному поступку, очень вдумчиво и индивидуально отнеслись члены Войсковой канцелярии, разбиравшие дела беглых солдат, которые добровольно уходили к черкесам, устав от тягот военной службы. Да, они не могли его оправдать, ибо не было в правилах погранслужбы статьи о меланхолии, но и наказывать, видимо, по всем правилам считали невозможным.

Не бессердечные, надо полагать, люди. Хотя на войне больше ценится отвага, храбрость, а не доброе сердце. Но нам, живущим сейчас, в мире, разодранном насилием и ненавистью, изощренной жестокостью и эгоизмом, так важно увидеть в прошлом следы человеколюбия и

сострадания. Увидеть, чтобы не потерять надежды на сохранение этих лучших человеческих качеств в будущем.

И здесь нельзя не сказать о горянках, которые попали в поле зрения пленников. Да, они тоже были разными, и судьбы их сильно различались. Совсем молоденькие довольно быстро начинали сочувствовать бедолагам в кандалах и цепях. Тихонько, украдкой, под покровом ночи пробирались они к сараю с пленным, клали ему кусок чурека или чашку молока, огурец или лепешку с медом. Да, чем были сами богаты, то, что сами ели, тем и делились со своими пленниками. Временами они попадались, их наказывали. Встречается эпизод, когда добровольные сторожа разрубили шашкой девушке руку, которой она что-то бросила пленникам, сидевшим в глубокой яме. Описания тех или иных мучений, провоцирующих сидельцев даже на суицид, достаточно для того, чтобы раз и навсегда возненавидеть войны. Но войны все же продолжают, а ямы по-прежнему служат тюрьмой для захваченных в плен.

Когда-нибудь человечество очнется, когда-нибудь оно, человечество, поймет, что в плен следует брать достижения иных культур, отчего богаче и достойнее станут жить все народы. А воевать следует с собственными недостатками ради умножения всё того же человеческого достоинства и любви ко всему живущему.

Разумеется, не все тексты этой книги равноценны, не все авторы точны в названиях, деталях, дате этнической принадлежности своих похитителей, что вполне объяснимо и уровнем образования, и степенью общей информированности. Да, все они дети той эпохи, когда интересы государственности были выше естественных прав человека на свободную жизнь и на жизнь вообще. Через все строчки просматривается весьма малая забота кавказской администрации о безопасности рубежного населения – селян. И совсем никакой озабоченности и ответственности перед будущим, где вспомнятся и исторические обиды, и будет подправление истории корректировкой картин прошлого. Никогда не будет и однозначной оценки событий, описанных их современниками. Те, кого интересует истина, попытаются разобраться в проблеме без необоснованных эмоций, ненужных на сегодня ярлыков. XXI век призывает к просветлению и согласию. Если, конечно, мы на самом деле хотим мира.

Мария и Виктор Котляровы

Симон Петлюра. Полтавский семинарист в плену у горцев

Имя *Симона Васильевича Петлюры* (1879–1926) – одно из известнейших в истории гражданской войны в России. Он – политический и военный деятель Украины, возглавлявший Директорию Украинской Народной Республики (УНР). Сформированные им войска выступали против захвата Украины Красной армией.

Куда меньше известна научная деятельность С. В. Петлюры. В 1902 году, спасаясь от ареста за революционную агитацию, он приехал на Кубань, где одно время работал ассистентом-исследователем в экспедиции известного ученого Ф. А. Щербина, осуществлявшего подготовку «Истории Кубанского Казачьего Войска». Федор Щербина в своих воспоминаниях «Симон Петлюра на Кубани» (Прага, 1930) писал: «Разбором исторических материалов и выпиской из них наиболее ценных и интересных сведений для истории, помнится, занималось тогда у меня четверо или пятеро искренних работников, но и они удивлялись, с каким пылом относился Петлюра к работе, ...выискивал умело то, что нужно было для истории и чем он персонально интересовался».

С. В. Петлюра за два года пребывания на Кубани подготовил и опубликовал в местной периодической печати несколько публицистических работ; в том числе статья о председателе Кавказской археографической комиссии Е. Д. Фелицыне – «Памяти Е. Д. Фелицына», с которым Петлюра был лично знаком, и публикуемую ниже заметку «Полтавский семинарист в плену у горцев» (1904).

Самовольные побеги на «ту сторону реки Кубани» и «без особо нужных к тому причин» лиц, принадлежавших к сословию бывшего Черноморского (ныне Кубанского) войска или хотя бы временно проживавших на территории последнего, строго запрещались войсковой администрацией. Существовала целая система карательных мероприятий, направленных к «удержанию от побегов через реку Кубань» и в широких размерах применявшихся администрацией войска вплоть до 1862 года, когда граница черноморских владений была отодвинута за реку Кубань. Виновные беглецы после предварительного допроса, снимавшегося с них в карантинных заставах, куда они препровождались обыкновенно пограничными разъездами казачьих «бекетов», а часто и самими «закубанцами» (обычный термин в устах черноморских казаков для обозначения горских народностей, живших на Кавказе), материально заинтересованными в доставлении назад войсковых перебежчиков, и после «выдержания ими определенного карантинного термина» препровождались «для поступления по законам» в Войсковую канцелярию. Последняя обыкновенно «мнением своим полагала: возвратить виновного на прежнее его жительство, в прежнее состояние», подвергнув его предварительно – судя по степени виновности – наказанию плетью от 50 до 100, а то и больше ударов. Судебное разбирательство в таких случаях продолжалось недолго; для судей – членов Войсковой канцелярии – достаточно было самого факта нарушения подсудимым установленных правил и распоряжений, чтобы возложить на него соответствующее наказание. Ссылки на тяжести войсковой пограничной службы, на случайное, не «злым намерением» нарушение требований последней, как на мотивы, приводившиеся подсудимыми в свое оправдание, не имели в глазах судилища особой ценности и значения смягчающих вину обстоятельств им не придавалось, такое по крайней мере выносишь убеждение из изучения «дел» Войскового правительства Черноморского казачьего войска и «криминальной» экспедиции Черноморской войсковой канцелярии, сменившей в 1801 году названное правительство. Но вот 5 июня 1819 года членам Войско-

вой канцелярии пришлось встретиться с небывалым до сих пор в их административно-судебной практике случаем. «Поступлению по законам» подлежал пойманный закубанцами дезертировавший за границу реки Кубани, «именующий себя семинаристом Иван Вакулинский». Предварительные дознания, снятые с подсудимого еще 17 июня в Екатеринодарской карантинной заставе, выяснили личность Вакулинского: он происходит из духовного сословия, его отец был настоятелем одной из приходских церквей местечка Решетиловка, Полтавской губернии, и даже имел сан протоиерея. В карантинную заставу Вакулинский был представлен 17 июня черкесами, получившими в обмен за него от комиссара заставы 50 пудов соли по 50 копеек за пуд. Свои предварительные показания подсудимый дополнил в Войсковой канцелярии, куда его препроводили 25 июня после выдержания карантинного термина; здесь «был он спрашиван» и показал: «Обучавшись в Переяславской семинарии до класса риторики, откуда в прошлом, 1809 году, во время квартирования около города Переяслава уланских запасных батальонов, был с прочими семинаристами подманут в оные без ведома духовной власти, но как она часть отобрала семинаристов, поступивших без ведома туда, в том числе и меня, велела продолжать учение им далее. Покойный же родитель мой, протоиерей Вакулинский, услышав о сем, приехал сам в город Переяслав и, видя меня в жалостном положении, просил преосвященного и консисторию тамошнюю уволить меня вовсе из духовного звания, но консистория вышеуказанная заключила своим определением: вместо увольнения за такой поступок исключить из семинарии и духовного звания вовсе, не дав ему никакого письменного документа. Я тогда, приехав в дом родителя моего, прожил не более в оном как один год в надежде той, что рано или поздно ошибки молодых людей посредством благодеяния могут исправиться. Но как родитель мой помер, я был учителем в Полтавской губернии, Зеньковского повета, в доме помещика коллежского регистратора Виктора Тимченка два года». Окончив же курс своей кондиции, поехал тоже для сего единственно в местечко Белоцерковку Хорольского повета к помещику ротмистру Александру Быковскому, который, отправляя после сына своего в Петербург, советовал и ему туда же поехать, он, на сие решась, поехал и, достигнув Петербурга, просил в Медицинской тамошней академии о принятии его в оную; но она академия его, не имевшего от семинарии никакого документа, не приняла. Вскоре же после сего полковой есаул Белой, служивший в гвардии, отправлялся в перевод оттуда в войско сие, и он, услышав об отъезде его, просил, чтобы его взял с собой в Екатеринодар, куда прибыв, подал прошение в Войсковую канцелярию войска сего и находился при письменных делах оной и по сие время, до 15-го числа сего июня. Что же касается до содеянного им ныне поступка, он оттого единственно произошел, что на сообщении сей канцелярии, последовавшем ему, о причислении в войско сие – неприятные преграды, и он, услышав сие, начал беспокоиться так, что впал в меланхолическое положение и от шума в голове, от того собственно родившегося, решил переплыть на ту сторону навсегда, там и остаться, что и учинил днем, где сейчас не знает каким образом был подхвачен черкесами, которые, завязав ему глаза и руки, через две какие-то реки перевезли прямо в свой аул, в котором и находился один только день, что правильно показал, в том и подписался Полтавской губернии, местечка Решетиловка, умершего протоиерея Лазаря Вакулинского сын Иван Вакулинский.

Услышав эту печальную повесть, члены Войсковой канцелярии оказались в затруднительном положении: перед ними стоял не заурядный беглец, вследствие тяжелых условий войсковой службы искавший счастья, свободы и приволья в горах у черкесов; нельзя было причислить Вакулинского и к разряду тех невольных «пленников», которых приходилось судьям так часто подвергать наказанию за несоблюдение ими правил пограничной сторожевой службы и которые, благодаря этому, попадали в плен к «закубанским народам». И личность подсудимого, и обстоятельства, предшествовавшие побегу, и, наконец, мотивы последнего были настолько своеобразны и необычны, что судьи не решились применить к Вакулинскому чисто формальные приемы судопроизводства, как это практиковалось ими в подобных случаях. С другой

стороны, и оправдание подсудимого по таким мотивам, как «меланхолическое» настроение, повлекшее за собой «шум в голове», не было предусмотрено законоположениями и правилами пограничной сторожевой службы, ясно и определенно говорившими о «тяжести» наказания за «самовольный побег» через реку Кубань «без ведома начальства» и «без особо нужных к тому причин». Желая выйти из такого затруднительного положения, члены Войсковой канцелярии постановили обратиться через войскового атамана полковника Матвеева к херсонскому военному губернатору графу Ланжерону, главному начальнику Черноморского войска, за необходимыми указаниями. Последний в своем ответе от 12 июля того года на имя войскового атамана писал следующее: «Прочитав рапорт ваш за № 3427 с объяснением выкупленного от черкесов, показывающегося Полтавской губернии, местечка Решетиловка, умершего протоиерея Вакулинского сына, Ивана Вакулинского, я не нахожу надобности предавать его суждению, по уважению, что он побег учинил от меланхолического припадка, но предлагаю вам только содержать его арестом и, справками открыв настоящее его жительство и звание, представить все то моему рассмотрению и ожидать разрешения» (№ 503).

Каковы были результаты этого отношения графа Ланжерона – из дела, к сожалению, неизвестно.

Дело Войскового архива Кубанского казачьего войска. Кн. 172. Св. 75. Д. № 748. С. 22–31; Петлюра С. В. Полтавский семинарист в плену у горцев // Киевская старина. 1904. Т. 86. № 7–8. С. 106–110.

Максим Кофанов. В плену у горцев. В 1830 и 1831 годах

Об авторе известно, что он родился в 1817 году, был земледельцем. Рассказ *Максима Кофанова* (1817–190?) о пребывании в плену записан его сыном Харлампием Кофановым и опубликован в трудах Ставропольской ученой комиссии (1914).

Уроженец я селения Бешпагирского, Ставропольской губернии и уезда. Селение Бешпагирское расположено при родниках, дающих исток речке Бешпагирке, в расстоянии от города Ставрополя тридцати трех верст. Село Бешпагирское основано в 1798 году (оно, как говорили старики, раньше называлось селением Покровским). Жители этого села в 1833 году были обращены в казачье сословие, а по Высочайшему повелению, воспоследовавшему в 30-й день декабря 1869 года, перечислено обратно в гражданское ведомство в числе 12 станиц Кубанского и одной Терского казачьих войск.

Дед мой, Иван Ермилович Кофанов, уроженец Курской губернии, Старооскольского уезда, селения Котова, с девятилетним сыном Филиппом (моим родителем), переселился на Кавказ в 1799 году для поселения в Бешпагире, но по случаю осеннего времени на зимовку остановился в селении Надеждинском, на расстоянии от селения Бешпагирского двадцати одной версты. Занятие деда моего – земледелие.

То время, к которому относится настоящий мой рассказ (1830–1831), и даже много лет раньше и позже этих годов, принадлежало к такому времени, в которое жители на полевые работы выезжали не иначе как при оружии и в которое обитатели западных Кавказских, потогдашнему непроходимых, гор, часть которых покрыта вечным снегом, вели ожесточенную борьбу с русским населением, расположенным на правом берегу реки Кубани и, разбойнически нападая на станицы, очень часто врывались и в пределы юной Ставропольской губернии, с целью грабежа и кражи детей и взрослых православных и увоза затем в плен для торговли ими. Такому разбойническому нападению подвергся и Бешпагир, в котором я рожден 14 января 1817 года.

Имея от роду 13 лет с небольшим, я в среду 24 сентября 1830 года в одной версте от дворов выпасал родительский и соседа своего, Никулина, крупный скот, а товарищи мои по пастыбе и соседи по жительству, Гавриил Сафронович Шевелев и Степан Михайлович Рыженков, – овец, и, когда солнце уже близилось к закату и все мы стали подгонять к дворам каждый свой скот, из-за горы появилась большая шайка конных и вооруженных черкесов – закубанских татар, и большая часть этой толпы со зверским визгом и гиканьем бросилась ко мне и грозно требовала указать, где конный табун.

Не могу передать, в каком состоянии я находился в тот страшный и ужасный момент, когда нахлынула на меня названная орда, и на зверское требование черкесов указать им, где находится табун, я не мог промолвить ни одного слова; и это не потому, что не хотел сказать о месте нахождения табуна или о незнании, где он находится, а потому, что я в ту минуту не помнил ничего и даже не видел и не знал, что делается с моими товарищами Шевелевым и Рыженковым. Придя несколько в память, я услышал грозное и вместе с тем зверское приказание черкеса:

– На заходную!

В это самое время проезжали три человека села Северного, которых черкесы догнали и в плен взяли только двух человек и лошадь, а третьего хотели умертвить, но, к счастью проезжавшего, взмах взвившейся в воздухе черкесской шашки с нетерпением рассечь голову вышел неудачен, так что острое шашки не попало прямо по голове, а промелькнуло мимо лица, отрубив прочь только один нос. Итак, из тех проезжавших северенских мужиков хотя взято зло-

десятью в плен два человека и лошадь, но зато третий остался жив, как бы нарочно для того, чтобы он, являсь в село Северное, сообщил о происшествии как селу, так и семействам двух захваченных в плен.

Взятие закубанскими черкесами двух северненских мужиков и поранение третьего их товарища происходило тут же, где был схвачен я с моими двумя товарищами, Шевелевым и Рыженковым.

Сейчас же, после пленения двух северненских, на дороге показался проезжий на село Сергиевское, везший из Ставрополя водку в двух ящиках, года на два моложе меня сергиевский крестьянский мальчик Тимофей Федорович Савенков с работником своим, стариком. Накинувшись, четыре черкеса в четыре шашки стали крошить старика. Страшно было смотреть на эту кровавую сечу, а равно и на то, как страдалец, при всяком нанесении удара шашкой, защищался и жалобно вскрикивал, как бы умоляя мучителей о пощаде, но, увы, зверимучители продолжали свою кровавую расправу, и я видел, как одна рука старика-страдальца от удара шашки отлетела прочь с повозки на землю и там, на земле, пальцы отрубленной руки судорожно дергались и искривлялись. Старика этого черкесы искрошили на куски и сбросили его тело с повозки на землю вместе с постилкой, бывшей под ним, и, взяв несколько штофов с водкой, побили их о голову и другие части тела несчастного старика, так что все куски изрубленного тела были смочены водкой. При виде такого зверского поступка черкесов сердце сжималось и страх обнимал до бессознательности.

Покончив с несчастным стариком, черкесы взяли в плен его молодого хозяина Тимофея Савенкова и двух его лошадей и, собрав в одно место всех захваченных ими пленными: меня, Шевелева, Рыженкова, двух северненских и сергиевского Савенкова, – посадили каждого на отдельную заводную лошадь верхом без седел, кроме Шевелева, который был посажен на одну лошадь с черкесом и привязан сзади седла, повезли нас вверх по реке Бешпагирке, мимо Ясенового и Бабского постов к темному лесу, оставив справа Стрижаменскую крепость. Спускаясь под крутую гору, черкесы заметили, что привязанный к седлу Гавриил Шевелев умер, а потому на Барсуках, выше Невинномысской станицы, отвязав от седла, бросили на землю, а сами с остальными пленными отправились далее. Вправо от того места, где был брошен умерший Шевелев, слышен был лай собак, к которому я стал прислушиваться, но заметивший это черкес так сильно огрел меня плетью через лоб, что искры посыпались из глаз.

Далее черкесы с пленными переправились через реку Кубань и поехали вверх по Большому Зеленчуку до Каменного моста, против которого, свернув в лес, злодеи остановились на дневку. Тут с полудня черкесы разъехались на две дороги и из всех пленных товарищей одного северненского повезли влево, а меня, Рыженкова, Савенкова и одного северненского – вправо. Повезли нас через гору в верховья реки Уруп и темным вечером наступающей другой ночи проехали какой-то татарский аул, около которого остановились. Из этого аула принесли большой казан какого-то вареного кушанья и дали нам, пленным, по большой чашке. После этого переехали еще две большие речки. Эти дни были пятница и суббота. В субботу Рыженкова увезли прочь от нас, а меня, Савенкова и одного северненского на другой день – в воскресенье – разобрали по хозяевам.

Черкесы во всю дорогу везли нас верхами на неоседланных лошадях с такой скоростью, где как было возможно.

Меня взял один небогатый черкес, у которого я пробыл одну неделю, но всю эту неделю никак не мог ходить от побоев, полученных от верховой езды на неоседланной лошади. Привели ко мне толмача, начали лечить побои и мазать маслом ссадины, и, когда я немного поправился, хозяин мой повел меня вязать просо. Работу эту я выполнял хорошо, потому что приходилось исполнять эту работу и дома, и в плену она мне была уже знакома, и хозяин мой и другие удивлялись моему уменью. На другой день хозяин возвратился из какой-то недалекой отлучки и с ним приехали два татарина, которым первый мой хозяин продал меня, не знаю

за какую цену, и эти новые хозяева мои везли меня в глубь лесов еще три дня, и там у них я прожил месяца два по речке Псыкоба. В это самое время в Закубанских горах-трущобах находился в походе главный отряд русского войска, главнокомандующим которого был генерал Вельяминов.

Черкесы, мои хозяева, из опасения попасть в руки русского войска, увезли меня дальше в горы. Туда откуда-то явился турок и купил меня у черкесов за 400 рублей и вез в глушь еще три дня. Местность, куда завез меня бесчеловечный злодей-турок, та, где теперь недалеко находится город Новороссийск.

У турка я пробыл до весны 1831 года и был продан им за 400 рублей на речку Абинь черкесам, у которых я пробыл месяца полтора, и ими был продан армянину, занимавшемуся выкупом пленных, который меня и вывез на Божий свет, и я очутился снова у своих родителей, оплакивавших потерю своего сына.

Освобождение меня из плена произошло с августа 1831 года, в день двенадцатого праздника Преображения Господня, торжественно празднуемого Святой Православной церковью.

Об обстоятельствах моего освобождения из плена я упомяну ниже хотя бы вкратце, а теперь скажу несколько слов о своем житье-бытье у моих горских хозяев.

У трех моих хозяев-черкесов, кроме поганого турка и армянина, я исполнял все работы, какие только были поручаемы ими: пас рогатый скот, овец, коз, работал в поле, косил, копал, рубил дрова и таскал на себе в аул к саклям своих хозяев; одним словом, черкесы заставляли меня делать такие дела, какие не под силу и 18–20-летнему татарину. Черкесы не верили, что мне только 14-й год, а видя рост мой, назначали для меня всякие работы. Правда, я, хотя и молодой был, но рост имел большой, стройный, плечистый и какой имеют только 17–18-летние, по этой причине и подвергался самым тяжелым работам. Присмотра за мной из опасения побега черкесы не держали, убедившись, что я один пленник и к тому же нахожусь в таких трущобах, по которым они и сами с трудом пробираются.

Обращались со мной мои хозяева, повторяю, кроме поганого изверга-турка, не очень жестоко, и на такое обращение их со мной всегда влияла моя им покорность во всем, честность и аккуратное выполнение возлагаемых на меня поручений, поэтому они не могли уже изливать на меня природные им зверства, которые у них от рождения имеются, но зато я почти ежедневно терпел, можно сказать, мучения от хозяйских рабов-крестьян (хозяева мои, кроме одного небогатого, имели по несколько человек рабов, или крестьян, а сами над ними считались как бы помещики). От этих хозяйских помещичьих рабов-крестьян я много набрался горя и мучений: хозяева мои прямо обличают своих рабов в бездействии, лености, нерадении, недобросовестности и прочих по хозяйству упущениях и, указывая на меня, говорят все:

– Вот пленник, совсем чужой, а на него можно положиться и довериться во всем, а вы, собственные рабы, служите только во вред хозяину.

И поэтому крестьянам-рабам доставалось так от их господ. Такой укор со стороны моих хозяев всегда был причиной негодования и притеснения меня со стороны их рабов-крестьян: они-то больше, что хотели, то и делали со мной, били чем попало, заставляли нести такую ношу, с которой им, гололобым, и двум не справиться. Кроме этих изнурений и истязаний со стороны хозяйских рабов много мне пришлось претерпеть и от хозяйских детей, которые вздумают, бывало, покататься, насадятся мне на спину, сколько мои силы могут удержать, и приказывают везти их вброд на другую сторону речки и обратно. Что делать – пожалеть и заступиться некому, надо везти – и везешь. Глаза на лоб лезут и послушаться нельзя, а если когда и случается послушание поневоле, то сейчас же получаю незаслуженную награду – колотушки чем попало и по чему попало без числа; и за эти катанья на невольнике, и за побои они остаются безнаказанны со стороны своих старших.

Во все время нахождения в плену у закубанских горских черкесов обмундировка, или повседневная одежда моя, состояла: толстого сукна черкеска рваная, до колен и до локтей

обтрепанная, в зимнее время – из лохматых овчин шуба, полная паразитов, вся рваная, на ногах рваные чевяки или больше без них, ноги обворачивались в чевяках, когда они были, или самой негодной тряпкой, или клочком сена, но больше приходилось быть совсем разутым, а наготове лохматая, вонючая, порванная и со множеством паразитов шапка. Летняя одежда моя состояла из клочка тряпки – воротника на шее, то есть рубахи большей частью без рукавов, и штанов, заключающихся только в одном учкуре¹, и тот с паразитами. Поистине скажу, что все время нахождения моего в плену зимой я был почти раздет и разут, и даже более чем почти, а летом совершенно голый, имея лишь на шее клочок грязного воротника и на чреслах учкур. Зимой от морозов и стужи ноги мои с большими болезненными наростами на подошвах трескались, испуская кровь, как подстреленное животное, а летом незажившие раны прели, причиняя нестерпимую боль. В такой одежде мне приходилось ежедневно работать и зимой и летом. Провидение Божье сохранило мое здоровье, и я остался жив.

Турка, у которого я пробыл до весны 1831 года, поганым я называю потому, что он, помимо всех оказанных мне жестокостей своих, излитых на меня, несчастного невольника, дерзнул окаянный силой дважды осквернить меня мужеложеством. Ужасом и страхом обдаёт при воспоминании об этом ужасном преступлении, сделанном надо мной турком. Теперь я одно только прошу: да простит мне Господь Бог мой за то преступление, которое учинено турком силой и под угрозами, помимо моей воли. Причем в этом случае я прихожу к тому убеждению, что без попушения Божьего и волос с головы не спадает, так и в этом случае было, памятуя притом, что ведь Бог же попустил черкесам взять меня в плен, Он же и исторгнул меня из рук нечестивых и вручил в родную семью.

Находясь в плену у последних моих хозяев, я подыскивал случай к выходу из плена, о чем просил своих хозяев, и те обещали продать меня, указывая на армянина, а родитель мой, со своей стороны, хлопотал и узнал от переводчика Антонова, что вывести меня может разве армянин, которого он нашел в станице Прочноокопской. Не знаю, как все это происходило, только последний мой хозяин-армянин, купивший меня у черкесов, привез меня в станицу Прочноокопскую Кубанской области и сдал меня моему отцу, получив от него за это 300 рублей.

Какая была радость моих родителей, когда я был уже в их объятиях, в их доме, я не стану рассказывать, потому что всякий, потерявший какую-либо вещь, или у кого что-нибудь бывает похищено, а потом возвращается, приходит в великую радость и восхищение; тем более радость должна быть неопишуемая, когда родители, лишившиеся сына и не думавшие более видеть его, а равно не зная, жив ли он или умер, вдруг принимают его под свой кров, то есть сына, которого зверски отняли у них варвары.

Когда я был дома у своих родителей, то было известно, что вместе со мной взятые в плен два северненских крестьянина освободились из плена через год или менее после того, как были взяты, а сергиевский Тимофей Савенков из плена освободился только через два с лишним года после моего освобождения, так что Савенков в плену у черкесов был более трех лет. Что же касается до товарища моего Степана Рыженкова, то о нем не было слышно до 1864 года: он со дня взятия в плен и до сказанного года находился у закубанских трущобных обитателей – черкесов.

В 1861 году вышел из плена, как говорили тогда, обменом, Степан Рыженков, и я был потребован начальством для признания его, так как вышедший пленник Рыженков для подтверждения своей личности сослался на меня, как вместе с ним взятого в плен, и когда предъявили его мне, я совсем не признал в нем того Рыженкова, который был взят вместе со мной. На следствии, производимом военным офицером С. М. Захарьиным, пленник этот сознался, что он не Рыженков, а уроженец Киевской губернии, был принят на службу и с рекрутства ушел

¹ Учкур – шнурок, ремешок, повязка для поддержания штанов. – *Изд.*

в горы к черкесам, а находясь там, сошелся с действительным пленником Степаном Рыженковым и, узнав от него, что он пленник, расспросил у него о месте его родины, времени взятия в плен, с кем и прочее и, будучи хотя малограмотен, записал всю откровенность пленника, а затем удостоился и выйти из плена под именем Степана Рыженкова.

Этого мнимого пленника Рыженкова я не признал за действительного по двум причинам: во-первых, потому, что он несколько не похож на природу Рыженковых, а во-вторых, потому, что он, пробыв столько лет в плену, почти не умел говорить по-черкесски, тогда как я, пробыв в плену только около года, с 24 сентября 1830-го по 6 августа 1831 года, хорошо говорил по-черкесски. Последнее то обстоятельство и послужило нитью к раскрытию, что он за человек.

В 1864 году явился новый пленник Рыженков, и я вновь был потребован для опознания, и когда пленник был предъявлен, то я без труда узнал в нем того действительного пленника Степана Михайловича Рыженкова, который вместе со мной и другими был взят черкесами в плен перед вечером в среду 24 сентября 1830 года.

Во все время нахождения моего в плену гораздо больше было прискорбных приключений и невзгод со мной против тех, которые мной описаны, но я их не могу теперь все вспомнить, а вкратце записал только то, что не забыл².

1 августа 1900 года

Кофанов М. [Х. Кофанов]. В плену у горцев в 1830 и 1831 годах // Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. Ставрополь, 1914. Вып. 6. С. 3–11.

² Рассказ этот записан сыном, Харлампием Кофановым, со слов отца, причем рукопись заканчивается следующей припиской: «Справедливость изложенных в сей записке событий и приключений перед Богом удостоверяю своей подписью, пленник 1830 и 1831 годов, житель селения Бешпагирского, Ставропольской губернии и уезда, отставной урядник 83-летний старик Максим Кофанов».



Черноморский казак

Лев Екельн. Из записок русского, бывшего в плену у черкесов

Лев Филиппович Екельн – помимо «Из записок русского, бывшего в плену у черкесов», является также автором литературного произведения «Джекнат и Бока. Чеченская повесть» (Отечественные Записки. 1843. Т. 31. № 11).

Л. Ф. Екельн – дежурный штаб-офицер штаба Отдельного Оренбургского корпуса, майор, «состоящий по кавалерии». В Оренбурге был дружен с А. Н. Плещеевым, который ценил его душевные качества. Тесные отношения с Екельном поддерживали другие опальные.

Вот что можно почерпнуть о нем в Интернете: «...Его положение позволяло ему влиять на судьбу Шевченко, и мы возлагали на него надежду», – писал впоследствии Б. Залеский, характеризуя Екельна как «доброего человека». Шевченко узнал о Екельне от Залеского, вероятно, не ранее 1853 года. «Еще раз благодарю тебя за копию „Монаха“ и – я тебе как Богу верю – ежели Лев Филиппович такой человек, как ты говоришь, то и ты, и он скоро увидите и Актау и Каратау, ежели не красками, то по крайней мере сепию». Речь идет о рисунках Шевченко, которые он, в силу царского приговора, мог делать лишь тайком; отсюда понятно, как характеризовал Залеский одного из близких помощников генерал-губернатора.

В 1854 году Екельн был отчислен от должности дежурного штаб-офицера и назначен исполняющим обязанности члена Омской полевой провиантской комиссии.

Путь от аула Чишки до аула Доч-Морзей³

Из Чишек до Доч-Морзей две дороги: одна идет по горам и утесам, образующим славное Аргунское ущелье, другая – по руслу реки. Газий (князь) выбрал последнюю, сотворив обычную полуденную молитву; князю и его мюридам подвели коней, меня посадили на круп лошади какого-то чеченца. Авангард тронулся; за ним, в 60 шагах, вновь пожалованный начальник (после смерти славного Эрс-мирзы Шамиль, голова бунтующих горцев, назначил на место его Газия, мюрида и соотечественника своего, начальником следующих аулов: Чишки, Доч-Морзей, Улус-Керты, Исмаил-Ирвей, Войхёнах и Муссейнюрт), имея по бокам в пяти или десяти шагах по несколько человек наездников; наконец арьергард. Толпа народу проводила князя, осыпая желанием здоровья и успехов. Выехав из аула, мы повернули налево, к берегам вольного Аргуна. Последний раз простился я взорами с Чишками, памятными зверским обращением со мной Голеги и жестокой болезнью. Аул с высокими пирамидами кукурузы медленно тонул в осеннем тумане. Прощай!

Дорога, дойдя до леса, вдруг поворачивает направо и сбегает к ложу реки, обставленная высокими дубами и вязами; кони, фыркая, медленно, нога за ногу, ступали по глинистой почве, размоченной дождями, и грудью бросались в волны Аргуна, катившего воды свои у самого спуска. Вот мы в ущелье: гигантские скалы, увитые вековыми дубравами, обступили бешеную

³ Редактор «Отечественных записок» получил статью при следующем письме: «М. Г., судьба бросила меня пленником в Чечню; странные происшествия, бывшие со мною, говоря без преувеличения, – сущий роман. Я описал свои похождения; посылаю отрывок из этого описания, и пр. и пр. Л. Екельн»).

реку; над головой клочок прекрасного голубого неба: направо и налево громадные выси; под ногами волны да волны...

Шагом ехали мы то по руслу Аргуна, то по тропинке, бежавшей около берегов его. Князь запел любимый гимн мухаммедан «Ла иллях иль Аллах»; мюриды хором подхватили последние звуки песни, и вызванное эхо следом откликнулось какой-то дикой, мрачной гармонией и далеко, далеко понесло печальные напевы свои...

Грустно стало мне; казалось, чем дальше отодвигался я от родного края, тем дальше улетала надежда когда-нибудь снова увидеть его. Будущность, прежде столь светлая и радужная, исчезла, как звук. Недавно писал я на родину; ответа еще не было, и невольная мысль, что поприще столь благородное я должен кончить рабом презренного и гнусного лезгина, умереть в цепях, не оплаканный слезой ни друга, ни христианина, убить в железах мою молодость и потом умирать долго, медленно, обремененным кандалами и напутствуемым проклятиями или насмешками врагов Бога и моего Отечества... Из чьих глаз эти думы не вызвали бы слезы душевного страдания?..

С час ехали мы; природа все та же: не увидишь луча солнечного; все выси, да скалы, да горы, да леса дремучие.

– Скоро ли? – спросил я у своего спутника.

– Да вот, – отвечал чеченец, указывая плетью: – поднимемся на бугор, а оттуда недалеко.

Мы въехали на маленькую горку. Широкая и длинная поляна лежала перед нами; солнце садилось; князь приказал остановиться; мы слезли; начальнику поднесли медный таз и глиняный кувшинчик для омовения; лошадей спутали; мне приказали сесть; правоверные собрались прочесть молитву перед закатом. Впереди, на маленьком пестром коврикe, сам князь; за ним, на разостланных бурках, мюриды его; каждый шепчет про себя слова намаза; один Газий звучным и громким голосом полупоет: «Бисмиль ля и эльхиндо». Лица, за минуту полные отваги и дерзости, сменились выражением какой-то важности и смирения; взоры опущены долу, руки сложены на поясице; лучи солнца, пробившись сквозь ветви деревьев и далеко обливая поляну, играли на белых, чистых чалмах мюридов чудным розовым светом; дорогие насечки на ружьях, кинжалах и шашках словно горели; недалеко связанный русский; там кони, понурившие головы... Так торжественно тихо! Ни ветер не колыхнет, ни птица не взовьется; только звучный лепет молитвы да говор волны...

«Аттаге и ата» кончена, и вот мы опять на *диньях*. До ночлега оставалось версты три; место ровно, хоть шаром покати. Выхватив пистолеты и ружья, мюриды словно птицы понеслись по полю, сверкали, гремя выстрелами. Каждый хотел блеснуть перед новым начальником, и долго джигитовали бы *барколлы* (удальцы, бодрые, смелые), если бы не аул, который вдруг вышел из-за леса. Мгновенно все собрались вокруг князя. Проехав еще с полчаса, отрядец наш остановился в виду Доч-Морзей. Множество домов, аккуратно выбеленных, разбросанных без всякой симметрии по широкому полю. С южной и западной стороны Доч-Морзей опоясан густым и непроходимым бором; с восточной он примыкает к Аргуно; жители его – беглецы атагинские: после набега Ермолова на столицу Чечни, славную и богатую Атагу, все, что было истого мечиковского, бросилось в ущелье и образовало аулы самых буйных и смелых разбойников...

Князь, по обычаю истинного мухаммеданина, выжидал, чтоб кто-нибудь пригласил нас под кровлю. Вот летит знакомец мой, хитрый Чими.

– Салам алейкум!

– Алейкум салам, – ответили хором.

Пошли приветствия.

– А, а! Леон, хё вун окуз? Марша ла илла я дела! (А, а! Леон, ты здесь? Прошу Бога, чтоб здоровье шло к тебе!)

Я поблагодарил; мы тронулись. Все, что было живого и разумного в ауле, все встретило нас. Салам и приветствия градом летели со всех сторон. С этой-то свитой мы торжественно въехали во двор Эм-мирзы, отца Чими.

Как и везде, меня мгновенно окружили; десятки рук протянулись к полам сюртука, ошупывая сукно; фуражка ходила из рук в руки, возбуждая смех и брань. Как и везде, народ, удовлетворив первое любопытство, начал ругать христиан, русских и меня в особенности. Я попросил человека, приставленного ко мне, развязать мне руки (когда мы отправлялись, локти мои туго перетянуты были кожаным ремнем) и спрятать меня куда-нибудь от безотвязных. Мюрид отправился к князю испрашивать позволения; через минуту явился он, неся кандалы; меня посадили, и не прошло мгновения, как бедные ноги мои были скованы. Кто был поближе, со смехом спрашивал:

– Якши? Дикен-дюи? Эй, давелла гаккец! Эй, джалиа, джалиа! (*Якши* – по-татарски, хорошо; *дикен-дюи* – по-чеченски, то же; *давелла гаккец* – твой отец ест свинью, или просто «ты свиноедов сын»; *джалиа* – собака.) Надо было поскорее уходить; иначе слова превратились бы в угрозы более действительные, а я должен был молчать и, как вещь бездушная, не чувствовать, не мыслить. Меня ввели в высокую и просторную саклю. В стене вделан камин; яркое пламя разведенного огня обливало светом трех чеченок, варивших баранину, и, играя на стволах ружей и пистолетов, на клинках шашек и кинжалов, терялось в углах комнаты.

При входе нашем чеченки поднялись.

– Возьми его! – говорил мой мюрид, сдавая с рук на руки какой-то старушке, сгорбленной тяжелыми 50 годами: – Посади его куда-нибудь да посмотри за ним; мне надобно идти.

Добрая старушка усадила меня подле самого огня на мягкой кожаной подушке. Я поблагодарил ее как умел. Вероятно, хозяйка приняла участие во мне, потому что продолжала, указывая пальцем на котел с лакомой бараниной:

– Якши? Твоя коп кушай будет!

Я не говорил вам, что переезд мой из Чишек в Доч-Морзей был в последних числах осени. Единственная рубашка, бывшая на мне, давно сгнила; сапоги, носки и исподнее платье снял с меня Эрс-мирза, начальник отряда Гихинского леса, когда, отуманенный сильной потерей крови и оглушенный ударом в голову, я без памяти с карабхца моего упал в ряды неприятеля. Теперь в сюртуке, босой и в шароварах, истертых цепями, в холодный осенний день – судите сами, сколько я обрадовался теплему огню...

Отогревшись, я начал рассматривать новых знакомок моих: первая, как я и сказал, старушка лет 50; подле женщина лет 28; следы давней красоты, несколько едва-едва заметных морщинок, средний рост, темные волосы, такие же глаза, приятное выражение лица – вот вам невестка Эль-мирзы, сиречь жена Чими; но когда взор мой упал на третью собеседницу... Много слышал я на Руси о красоте черкешенок и чеченок; пять месяцев, проведенных уже между мечиковцами, громко говорили противное. Раз как-то случилось мне видеть в исторических Гирстях что-то подобное «идеалу», но и тот имел слишком длинный нос, и я, твердо убежденный не в красоте, а едва ли не в безобразии чеченок, перестал искать «воровок покоя» между дикарками; но теперь... На голову ее наброшена белая кисейная чалма, из-под которой два черных-черных локона выбежали по розовым щекам красавицы; большие темно-карие глаза сверкали то умом, то чувством; уста, казалось, отворены были для жарких лобзаний; длинные ресницы порою закрывали очи Биги от страстных взоров коварного сына; казалось, не нагледелся бы на эти очи, не оторвался бы от этих уст... Жизнью своей я жертвовал бы за один поцелуй твой, милая, добрая Биги! И что значила мне жизнь моя, обремененная цепями и горем!.. Красная шелковая, чрезвычайно широкая блуза, отороченная от самой шеи до пояса широким галуном, падала до самых ног, обутих в крошечные «мяксыны»; светло-голубой арха-лук, унизанный застежками и рядами желудей из серебра, под чернью прекрасной работы стягивал стан Биги, стройный и гибкий словно стебель «дзеззы»; полосатые лилово-черные шаро-

вары связывались внизу серебряным шнурком с маленькими кистями; на обеих руках большие браслеты; маленькие серьги, кольца с висячими шариками, несколько рядов цепочек, лежавших на груди (все серебряное. Прошу читателя верить, что все, мной рассказываемое, – святая правда. Тут нет ни малейшей выдумки; ручаюсь в этом моим честным словом. Лица, выведенные мной, носят точно принадлежащие им имена; все они живы), – вот как и вот в каком наряде я увидел в первый раз девушку, которая впоследствии играла такую важную роль в моем плену.

Если редактор «Отечественных записок» согласится, я пришлю ему подробную повесть моей жизни, как жизни пленника⁴.

Если кого-нибудь из вас судьба приведет быть в Грозной, спросите там о Биги, дочери известного купца Инжен-Исы, и всякий даст вам один ответ:

– Хороши гурии пророка, да! – и, махнув рукой, прибавит: – Что грешить!

Не буду говорить, чем и как угощал Эль-мирза своих гостей, – об этом после когда-нибудь.

Муэдзин давно прокричал «Аллах экпер», и мюриды начали расходиться по саклям на ночлег; пора и мне прилечь; я встал, помолился Богу и кликнул своего сторожа. Мне постлали рогожку и в голову дали дырявый войлок; вот и цепи; гремя и звеня, упали железа на нищенское ложе мое; левую ногу приковали к стене; на шею – огромный ошейник и, пропустив через стену цепь его, укрепили с надворья толстым ломом. К чему не привыкает животное-человек?.. Сначала один звук кандалов поднимал волос дыбом и ручьем гнал слезы из глаз; прошло время, и я равнодушно смотрел на обычные украшения...

– Спи, собака!

– Засну.

Через пять минут я спал.

Необыкновенный шум разбудил меня гораздо до света; отворив маленькое окошко, я увидел какое-то особенное движение народа: шум и говор не умолкали, и до слуха моего долетали иногда: «Сюли» (чеченец называет этим именем лезгина), «Быддиш хюзна» (слово непереводимое). На просьбы мои и уверения в том, что не буду больше спать, сняли наконец ошейник и цепь с левой ноги; оставались кандалы; но я так привык уже к ним, что свободно мог ходить и в железах. Я вышел: бездна народу, разделившись на кучки, вела между собой шепотом беседу, и так как на меня никто не обратил внимания, я смело заключил, что чеченцы заняты чем-нибудь серьезным. Минут 10 продолжался этот говор; вдруг выходит князь, толпы смолкли; лицо Газия мрачно, как и душа его. Мюриды, собравшись, пошли в аул, вооруженные с ног до головы, тихо перешептываясь; князь обратился к народу и начал говорить, казалось, грозил. Подле меня стоял какой-то рослый мужчина; я обратился к нему с просьбой объяснить, что значит это собрание, и вот что узнал я от рослого господина:

– Бефир, сын Доч-Морзей, одного из богатейших жителей аула того же имени, влюбился в хорошенькую Дженнат. Девушка, видно, была также равнодушна; ветреный Бефир воспользовался слабостью бедной Дженнат и, вместо того чтоб женитьбой загладить свой проступок, бросил ее на произвол судьбы. По окончании известного срока, последствия связи этой обружились. Отец под кинжалом заставил ее высказать всю правду, и как миновало уже прежнее вольное время свободной мести, когда обиженный безбоязненно мог всадить клинок в ребра врага, не заботясь о последствиях, то огорченный отец решился просить защиты и правды у своего князя Газия-лезгина, славного своими зверскими правилами, подвигами и глубоким знанием законов мухаммедовых.

Я думал, что несчастным любовникам отсекут головы. Неужели одна смерть только выкупает несколько минут наслаждения, украденных у людей и времени?

А вот и они!..

⁴ Не только соглашаюсь, но прошу об этом покорнейше. – *Ред.*

Посреди мюридов шел чеченец, видный, ловкий и статный, лет 20; благородное лицо подернуто раздумьем, брови сдвинуты, и рука крепко держит слоновую рукоятку *каза* – нищенского кинжала. Когда ветреного любовника привели к князю, Газий предложил ему жениться на девушке, им обещанной; но Бефир молчал: полюбил ли он другую или думал, что жена, которую ему предлагают, из боязни смерти открыла свой же собственный позор, что это слабое творение недостойно быть подругой целой жизни бесстрашного чеченца, – то ли, другое ли, но Бефир ни слова, ни одного звука в ответ на речь князя.

Молчание это вывело из терпения Газия.

– Долой чуху! – закричал он повелительным голосом, обращаясь к мюридам.

Юноша быстро сделал шаг назад; орлиным взглядом измерил князя с головы до ног и, выхватив светлый кинжал, прошептал:

– Саюелла во джалиаш (*саюель* – поди сюда).

Те из мюридов, которые вместе со своим начальником пришли в Чечню обирать и объедать храбрых мечиковцев, гнусные лезгины, бросились было исполнять приказание своего предводителя; но взгляд Бегира и клинок, молнией сверкнувший в глазах оторопевших андейцев, остановили порыв усердия друзей Газия.

В эту минуту из толпы народа выступил старик, подлинный *кунах* (муж). Бодро подошел он к Бегиру и, обменявшись несколькими словами, сказал, обращаясь к лезгинам:

– Наказывайте!.. – Голос старца дрожал; очи сыпали искры негодования и мести: то был отец Бегира.

Князь повел рукой; как звери бросились андейцы на злополучного любовника; руки его дрожали, когда он по приказанию отца вкладывал боевое оружие в мирные ножны.

Чуха и рубашка в одно мгновение ока слетели с плеч виновного; плети взвились и начали прыгать по атлетическим его формам...

– Сто! – крикнул кто-то, вероятно счетчик; плети исчезли.

По знаку Газия подвели серо-пепельного цвета паршивого ишака; принесли сажи – и в минуту лицо Бегира из прекрасного смуглого превратилось в совершенно черное. Беднягу посадили на вислоухого буцефала задом наперед, дали держать хвост в руки, и, набросив петлю на шею, вся процессия двинулась вокруг аула. Исполнитель правосудия кричал во всеуслышание:

– Во Дженнат! Во Дженнат! Поди посмотри на милого! Эй, Дженнат! Поцелуй своего любовника!

Объехав трижды вокруг Доч-Морзей, ишак с Бефиром вернулись назад. Бефир вымылся, оделся и пошел домой, вероятно, обдумывая месть. Князь вошел в комнаты; народ молча расходился, насупив брови.

Недели через две после рассказанного, когда я жил в Улус-Керте, говорили, что несчастная Дженнат после родов была наказана таким же образом; к тому же бедной приказали еще выехать из того аула, где она подала (как говорили хитрые горянки, лукаво улыбаясь и краснея) пример такой непозволительной любви.

Екельн Л. Ф. Из записок русского, бывшего в плену у черкесов // Отечественные записки. СПб., 1841. Т. 19. № 12. С. 91–97.



Чеченцы

Сергей Беляев. Дневник русского солдата, бывшего десять месяцев в плену у чеченцев

Сергей Иванович Беляев поступил в 1835 году в Казанский университет. В 1839 году был «отдан в военную службу». Попав в плен к чеченцам, отразил увиденное в своем дневнике, содержащем ценнейшие заметки о быте и традициях горцев 40-х годов XIX в.

Его «Дневник» выходил также отдельным изданием (Сударь. Десять месяцев в плену у чеченцев. СПб., 1859, с рисунками).

I

Шамиль. – Племена. – Войско. – Распоряжения. – Гостеприимство. – Наказания и преступления. – Обязанность женщин. – Свадьбы. – Красота женщин. – Жизнь горца вообще.

Я буду говорить о левой части гор Кавказских между Дарьялом и Каспийским морем.

Все это протяжение было тогда в руках Шамиля. Темна история его жизни, но горцы говорят о нем вот что.

До предшественника своего, Кази-муллы, он был аульным муллою; но по своему уму, познаниям в жизни снискал доверенность народа и вступил в управление им. В 1839 году, при отдаче замка Ахульго 22 августа, показал он горцам и свою распорядительность, и неустрашимость и подчинил их себе совершенно. Они называют его *падчиа*, что значит *падишах*, недовольны его распоряжениями, но повинуются беспрекословно. Называют его хитрой лисцей, но сознаются, что не всегда же ему самому должно быть в действиях, чтобы беречь себя для сохранения народа. В личном мужестве преимущество отдают Кази-мулле, говоря, что он никогда не показывал неприятелю своего затылка.

Во владениях Шамиля три главных племени, различных по языку, одежде и сходных несколько по обрядам: 1. *Нохчи*, называемые нами *чеченцами*, которые чеченцы существовали разве когда-либо, теперь же это имя туземцам вовсе незнакомо. Сказывают, что был аул, называемый *Чечен*, вблизи к нашим. Немудрено, что наши, судя по его огромности, называли жителей вообще чеченцами; впоследствии это имя распространилось и на других, как и теперь простонародье называет *чеченцами* вообще всех обитающих на Левом фланге Кавказской линии, а *черкесами* – живущих на Правом, хотя между горцами есть множество племен, совершенно между собой различных. 2. *Энди* – наши андейцы, или лезгины. Костюм их персидский или, лучше, древний армянский; выговор – картавый. 3. *Сюли* – наши тавлинцы, живущие вблизи снежных гор и потому, вероятно, получившие название от *тау* – гора, *таули* – горный; совершенные турки не только по одеянию, но и наречию, и первые принявшие от турок мухаммеданство. По своей оседлости, как вдали от наших и редко бывавший в набегах, народ рослый, неповоротливый, но довольно здорового сложения.

Из этого племени происходит Шамиль, как уверяют тамошние; жил же в земле чеченской, в ауле Дарги, как центре своих владений; телохранителей имеет из своих соотечественников; знает будто бы только два языка – сюлинский и кумыкский.

Энди – народ малорослый, но по своему удалству друзья с чеченцами; *сюлинцы* же по своей неповоротливости и трусости носят от чеченцев поносное название *лэгэ*, что значит *раб*, *змея*. Большой частью чеченцы имеют у себя рабов из этого племени; сами же чеченцы называют себя узденями – дворянами – и стараются оправдать это название честностью и твердостью в слове. Чеченец считает неприличным торговать чем-нибудь, и если продает, то без уступки. Но нынче чеченцы становятся теми же сюлинцами.

Одеяние чеченцев вовсе без затей, все по мере, все к месту, ничего лишнего: в обтяжку чекмень – *чуа*, шаровары узкие книзу, тугая обувь – *чивеки* или *мачи*, короткая рубашка, бешмет и по климату шапка. Бурка и башлык общий у всех племен.

* * *

Войско горцев или вообще горцы разделены на десятки, сотни, пятисотни, тысячи и наместничества (туземцы говорят, что при Шамиле была поверка, или перепись народная, и оказалось, что всех, готовых поднять оружие, во владениях Шамиля с лишком шестьдесят пять тысяч человек. О женщинах неизвестно; общее число мужского пола тоже неизвестно. О Правом фланге ничего не знаю).

Наиб, или наместник, зависимый от общего правителя, падчши, приказание передает в свои аулы через *мюридов*, своих помощников, назначаемых из каждого аула, которые и живут у него в карауле понеделно. Такие мюриды – люди, отличившиеся своим удалством и поведением, богобоязненностью, большей частью, в отличие от других, имеют награды, состоящие из различных значков: разноугольных звезд, полулуний и треугольников, серебряных, своего изделия, с надписью из Корана какого-нибудь стиха или со словами «Такому-то за храбрость» или «Храбром у из храбрых».

Эти медали, или знаки, они чеканят и из своего серебра, добываемого в самих горах преступниками. Такие места, называемые у них *Сибирью*, скрываются и от своих, чтобы не было дано знать о них русским.

Получив приказание от наива, мюрид передает его своим десятникам, из которых каждый с крыши своего дома оповещает свой десяток, когда и куда собираться в набег, на сколько дней; или прорыть канаву, или очистить ее для пропуска воды; починить мост или не рубить лес, как единственную защиту, и прочее.

Во многих местах чудесно устроены водопроводы для орошения земли, и труды вознаграждаются избытком хлеба.

За вырубку леса налагается на первый раз пеня 30 или 40 копеек; в другой раз виновный заключается в яму.

Содержание мастеровым и караульным производится из суммы, собираемой с виновных, или из пожертвований. Имение умершего безродного поступает тоже в этот запас.

При отправлении в дальний набег лошадь каждого осматривается, и если не может выдержать большого пути, оставляется со своим всадником дома. Потому всякий старается иметь свою или берет напрокат, за что не платит ничего и тогда, если возвращается с добычей, как, например, со скотом, главным промыслом.

На этом фланге, по неудобству места, лошадей очень мало, и они не так красивы, как черкесские, где много лугов и нередкий имеет табун.

Скот они перегоняют искусно вплавь, привязывая себе на спину надутые кожаные мешки. Набеги делают в свободное от занятий домашних время, весной и по уборке хлеба осенью. Тогда в самом Тереке делаются броды. Вообще все ручейки, не только реки, разливаются весной от таяния горного снега.

Без позволения наива, не имея от него записки, никто не смел отлучиться к мирным; пешие кое-как прокрадываются, но редко удается конному. На посту его пропустят сначала, но на возвратном пути отбирают у него и лошадь, и оружие. Нередко бывает, что многие ездят без позволения, в необходимых случаях, когда угоняют скотину. Тогда, не мешкая, выслеживают похитителя по разным приметам: по измятой траве или бурьяну, в лесу по сломанным сучьям; отобранное на посту возвращается по записке наива.

Цидулы эти пишутся больше слогом арабским ученым, понятным не всякому, и скрепляются именной печатью наива.

Простолюдины хотя не знают арабского языка, но необходимые молитвы понимают по переводу на свой язык. Даже некоторые выражения из Корана богобоязненный горец должен понимать. Мулла необходимо должен знать арабский язык, чтоб толковать Коран. Ученые муллы большей частью из сюлинцев; они-то и обучают мальчиков грамоте, школ же особенных нет.

До Шамиля не было этих наибов; в аулах были старшины и не имели большой власти; воровство было повсеместно. Часто один другого обирал всего, даже брал в плен и одноаульца и продавал его в дальний аул.

И теперь еще редко кто отойдет от своей сакли на несколько шагов без оружия. Чем кто больше имеет его, тот, значит, лучше умеет владеть им – вполне воин. Не имеющий оружия называется *баба: сте-сенна*. Женщины не носят его, но в Гильдагане, где я жил, была одна, постоянно носившая мужское платье; она даже исполняла мужские работы – пашню и покос. Случается, что вооружаются и они: это при нападении наших на аулы.

Гостеприимство считается у них первым долгом, и отказать в чем-либо просящему грешно и стыдно; но лицемерие, вероломство и сребролюбие – отличительные их черты. Гости со двора – начинают их судить и рядить. Чтоб не подать подозрений о склонности к воровству, как они выражаются сами, лично они ласковы. На слова их положиться нельзя. Он вас любит как брата, но шапка серебра – вы всё-таки гяур – и он отдаст вас в адские руки. Как прежде они делили с вами вашу тоску, сам плакал, смотря на вас, считал вас выше себя, целовал даже ваши руки, так после засмеется на ваши слезы и захохочет, как над ребенком, при вашем грустном взгляде при прощании с ним. Серебро тогда изменяет в нем все. Как красив он и строен, так точно и гнусен порой. Склонность ко всему прекрасному и скорый переход ко всему дурному поразительны.

* * *

Добрая нравственность поддерживается или прежним преданием старины, когда еще их понятия были девственны, или строгостью законов. Преступление наказывается или смертной казнью, или заточением в яму.

Это их тюрьма, где отверстие сверху. Туда заключают всех воров, если их отыскивают. Похитить что-либо тайно, или, как говорят, уметь схоронить концы, еще и теперь считается удалством; но открытый преступник наказывается жестоко. Укравший уходит в другое владение и живет там или у своих родственников, или знакомых. У воров для того знакомых много в разных аулах. Пройдет время иска, вор возвращается благополучно; иск ограничивается тогда взятием чего-нибудь из дома укравшего.

В ту же яму сажают и ослушников, кто не пойдет в караул, или в набег, или в работу для начальника, и держат там три или четыре дня. Туда же сажают и тех, кто не был в мечети в праздничный или недельный день, пятницу, *нересман (перескан)*; если не хочет дать что-нибудь из своих пожитков, мюрид приходит в дом его и берет одну или две меры, смотря по вине, кукурузы, или пшеницы, или проса или берет серп, *марс*, или *цэль* (скребок для лущения кукурузы), вилы или косу, *мангыль*. Также старшего из семейства или из близких родственников бежавшего к русским. Сакля бежавшего сжигается, а его брат, или отец, или сын заключается на несколько дней, пока не передаст о себе бежавшему. Но возвращаются редко – и невиновный через некоторое время освобождается.

* * *

Многоженство, как по закону Магомета, позволительно; но редко кто имеет двух жен.

Вся домашняя ответственность лежит на женщине, как на рабе, и потому, чтоб не ослабить хозяйства и предупредить разврат, Шамиль хочет, чтобы не было ни вдов молодых, ни дев пожилых – монахинь. Девушке определено одиночество до пятнадцати, мальчику – до семнадцати лет. Пять или шесть мюридов от наиба ходят по аулам своего владения и ищут таких. Находят жениха, найдут ему и невесту, и если кто из них не согласен, того в яму; противника продержат до смерти. При согласии мюриды и домашние сговоренных начинают стрелять, чем подадут сигнал к свадьбе. После делают приготовления к торжеству: богатый жених закалывает корову или быка и несколько овец; бедный – одного, много двух баранов. Невесте шьется рубашка, готовится платок или два. Дней через пять или через неделю старшие, мужчины и женщины, приводят невесту в дом жениха, и тогда молодежь начинает веселиться. Во все стороны сыплются пули из ружей и пистолетов, и чем более останется знаков на стенах, тем, значит, более приверженцев у молодого и тем краше его невеста. Повеселясь, начинают угощаться: в мирных аулах варят брагу (по-чеченски *нэхэ*, по-кумыкски *буза*); у немирных ничего этого нет, кроме одного съестного.

Прежде жених платил за невесту более десяти тюменей, что составляет сто целковых, разумеется, не все деньгами, а скотом и пожитками; нынче Шамиль ограничил и самих красавиц только тремя тюменями. В бедных местах, особенно близких к нашим, в разоренной Чечне, жених отдает отцу или матери невесты только три рубля серебром, остальное обещает уплатить впоследствии. Обещает иметь всегда на имя жены или лошадь, или пару волов и корову, или несколько мелкого скота, и если захочет продать что из этого или обменять, то без согласия жены не может; грех общий, если скотина эта падет или будет украдена.

Если жена не хочет жить с мужем, то лишается всего имения; разве муж даст ей для ее прокормления дочь, сына же только до его возраста; если же муж выгоняет жену, то отдает ей все принадлежащее; иногда мир присудит дать ей сына, если есть, разумеется.

* * *

Вообще женский пол не так красив, как мужчины. Напрасно многие прельщаются красотой этих дикарок: очаровательного я не нашел в этих куклах. Правда, они красивы, как картинки, но дикий взгляд, бездушные в чертах, с одной чувственностью и коварством в улыбке – не могут назваться идеалом. Нет того взгляда, как в лице скромной европейки, хотя не красавицы. Рожденные от рабынь, как весь женский пол – по закону Магомета, рабыни, лишённые прав, дарованных мужчине, как бы посредницы исполнений всех прихотей мужа, несчастные ищут уловки подышать свободой, стараясь угодить чем-либо своим властителям, – и вот с детства закрадывается в них лисья хитрость. Никогда муж не подарит своей жене веселой улыбки; редкий разделяет с ней трапезу; как раба, она покорна его взгляду и, как виноватая, во всяком взгляде его ищет себе приказания и ловит его малейшее движение. Никогда он не разделит с ней радости, и если рассказывает ей о своем наездничестве, удалстве и удаче, то не для того, чтоб удвоить свою радость, но чтобы более породить в ней к себе покорность. Этим фанатикам каждая нежность считается неприличной, и любовь к детям свойственна только матери. Никогда он не возьмет полелеять своего ребенка, никогда не полюбуется на него. Нет помощи от него и больной жене: это дело женское. Конь, ружье и шашка – вот его тоска душевная; пашня, посев и покос – забота житейская. Спросите его, каков его малютка, хорош ли, на кого похож или здоров ли – не узнаете ничего: он сошлетя на мать.

Первый вопрос пленному они задают: «Есть ли мать?». О братьях и сестрах спросят редко, об отце еще реже. Если мать есть, то говорят, что не будет жить.

Такая рабская жизнь кладет на лицо их и отпечатки рабские. Никогда вы не увидите на нем сердечной тоски; если какая взглянет на вас мило, то это – взгляд только природы или

мимолетное чувство, намек на совершенство. Любовь ее вероломна, слова – огонь. Подойдете – не останется в вас праху; покоритесь – она адски засмеется над вами.

Эти-то качества женщин поселяют к себе отвращение в мужчинах, которые, не расширяя своего ума далее пределов обыкновенных, представляют себе женщин созданными рабынями.

Если бы с молодых лет в этого прекрасного ребенка гор, где восприимчивость как бы трепещет, вдыхать всю жизнь европейца, то это точно был бы идеал совершенства.

* * *

Поучительным примером может служить безусловное почтение горца к старшим. Разительно чтят они память умерших.

Хоронят так: в могиле сбоку делается углубление, куда и кладется покойник; наискось заставляются досками, и потом уже могилу засыпают. Мертвеца обертывают в халат, концы которого завязываются на голове и ногах; когда опускают в могилу, держат над ней одеяло и под ним снимают этот холст духовные люди. По зарытии, мулла берет с могилы горсть земли и садится с ней читать молитвы из Корана; по жалобном прочтении рассыпает эту горсть по всей могиле. Ему подают кувшин с водой и лоскуток холста вместо полотенца: оmyв и отерев руки, он берет холст себе. После того на кладбище начинается тризна. Если в это время кто проходит мимо, то или зазовут его, или же непременно вынесут ему порцию. К этому времени они пекут блины, делают *беники* (пшеничный хлеб) и сладкое тесто из кукурузной муки, перемешанной с маслом и медом и обжаренной на огне; мясо – необходимая принадлежность, все это режется на куски, хлебное – треугольниками, и раздается посетителям смертного места.

На могилах ставят памятники или деревянные, с шаром наверху, наподобие человека, или каменные. На последних вырезается вся принадлежность: женские – ножницы, очки, иглы и тому подобное; мужчине – все его одеяние и оружие, а богомольцу – кувшинчик и подстилку, на которую становятся во время молитвы, и четки. Над убитым от руки неприятеля становится длинное, конически обделанное бревно, с разноцветным наверху полотном, подобным байраму.

Когда идут на работу, заходят на кладбище поклониться праху родственника; с работы же, если с покоса – кладут клочок травы; а по уборке хлеба или при посеве сыпят на могилы зерна. Накануне пятницы или недельного дня они пекут блины, или делают сладкое тесто, или варят кукурузу и разносят это частями по родным и знакомым, прося помянуть покойного. Также в положенное время поминок закалывается корова или бык и разделяется между всеми, хотя и незнакомыми, если селение невелико.

Праздная жизнь горца не представляет собой ничего занимательного. В свободное от воинственных занятий время он совершенно беспечен; но, несмотря на всю свою бедность, он доволен собой. Редко он призадумается, и склонить голову на руку считается малодушием. Надежда на свою силу и проворство делает его разгульным, но не порождает в нем стремления к изящному. Или, по красоте самого места, он, упоенный дарами природы, не подвигает своего ума за пределы сил своих. Не видя ничего лучшего, он спокойно спит в своей берлоге и дико рыщет на залетном коне по диким гребням гор. В тумане проходят дни его, хотя солнце и светит светло и природа роскошно развернута под голубым небом. Ученость и искусства ему чужды; равно он смотрит на дикий рев воды, на тихий ручеек, на громадные снежины и на мягкий луг; страшный гул грома и могильная тишина ему одинаковы.

II

Первые дни плена. – Раненый старик. – Судар. – Уважение к убитому. – Разговоры. – Догадка. – Ака. – Занятия. – Кандалы. – Мечты перед камином. – Дивные картины. – Примечания.

Назад тому пять лет отряд наш был в Большой Чечне, в Ичкерийском лесу или на хребте Кожильги, славным по битве как для нас, так и для горцев. В стычке при смешении шашек и штыков, с ударом моим по одному из горцев я был сдавлен и попал в руки неприятеля.

Меня отвели тотчас назад. Пройдя несколько саженой, мой пристав, который приписывал себе право победителя и поэтому законного владельца моей особой, уселся и посадил меня отдохнуть на срубленный чинар. Объяснив хозяину свою жажду, пошли мы к ручью и встретились со старухами из ближнего аула, спешившими за добычей. Всяк торопился, кто бежал, кто скакал. Из зависти ли к моему хозяину или от нетерпения положить хоть одного уруса, иной готов был пустить в меня пулю, наводя дуло; но хозяин, отстранив меня к скале и держа ружье наготове, ворчал против дерзкого; иной на скаку замахивался плетью, и одному удалось-таки ударить меня по плечу; с гиком: «Эй, гяур-йя!», повертываясь в седле, он ударял той же плетью своего коня.

Напившись и пройдя еще немного, мы сели с чеченцем, которого я сделался добычей: мои патроны и кремни были у меня отобраны; он спросил о деньгах, но не обыскивал на мой ответ. Отобрав, повел меня опять на ту поляну, где было побоище, и здесь передал другому; а сам, толкуя: «Брат, брат», пошел дальше. Вскоре толпа меня окружила, она несла напоказ все добытое на месте сражения; чеченцы веселились и заставляли меня играть на скрипке; я попросил нож и начал делать подставку; тогда внимательно смотрели все, повторяя часто: «Варда, варда». Вероятно, говорили, что я буду мастер делать арбы (грузинские телеги или арбы у них называются *вардами*). Кто бросал мне кусок сыскиля (кукурузный хлеб), но я просил беспрестанно пить – и помоложе кто, тотчас отправлялся с травинкой.

Прошло часа два, я все еще сидел с чеченцами около толпы. Русские штыки сверкали в глазах моих, а мой искривленный переходил из рук в руки. Меня позвали и подвели к носилкам, которые опустили передо мной, чтобы я осмотрел лежавшего на них раненого старика. Я сказал, что умрет нынче же к вечеру.

– Ну, неси.

Мороз пробежал по мне, я отговорился, что без хозяина не могу; но тут же подошел и Абазат (имя чеченца – моего хозяина), повторил слово «брат», и мы, подняв носилки, стали спускаться.

Несшие беспрестанно переменились, а мне доставалось отдыхать, когда останавливались все; тогда они делили между собой сыскиль (хлеб из кукурузы), ломая его на куски и бросая каждому под свернутые ноги. Другому на моем месте показалось бы пренебрежением такое швыряние, но так ловил каждый из нашего круга. Закусив, прихлебнем водицей и опять идем. Смерклось; мы остановились ночевать; я, как невольник, тотчас отправился за хворостом, за мной присматривали только издали.

Ружье мое и сума были переданы верховому их одноаульцу, ехавшему домой сложить добычу и запастись хлебом, чтоб опять преследовать отряд.

С восходом солнца я стоял под чинаром, неподалеку от своих; прочитал все молитвы, какие знал, обновляясь жизнью; мне не мешали. Обогрелось утро, к нам пришла жена старика и сестра его; старик был еще жив, предсказание мое не сбылось. Поплакали и понесли опять. Сестра, так же как и я, шла не перемениаясь; старуха шла позади молча. Я отдал молодой свой лоскут холста, подкладываемый на плечо под носилки, и она, отговариваясь, взяла его с веселой улыбкой. Наконец мы спустились совсем вниз, где приготовлена была для раненого арба;

уложив больного на мягкую постель и подушки, сами мы пошли сзади. Дальше и дальше молодая развлекалась, поглядывая часто на меня сквозь слезы.

Не допросив как зовут меня, они дали мне имя *Судар*.

«Быть так!» – сказал я себе, когда Абазат, при переименовании, ударил меня по плечу. На мой вопрос, хорошо ли это имя, Дадак (так звали молодую, двоюродную сестру Абазата и родную больного Мики) улыбкой подтвердила мне. С той поры все время я слыл под этим именем.

Не удалось мне слышать такого имени между ними, и сколько ни расспрашивал, говорили, что такое имя есть; мне же оно казалось почетным названием: хозяева, прежде мирные, вероятно, не раз слышали между нашими слово *сударь*. Как бы то ни было, Судар был встречен горцами как сударь.

* * *

Больной изнемогал, его положили на сани. Дорогой рассуждали обо мне, это было понятно, когда поглядывали на меня. Наконец один из чеченцев спросил меня, умею ли я косить, показывая на траву и махая руками; я отвечал, что учился только писать, но могу привыкнуть и к этому. Я толковал и так и сяк, говоря:

– День, два, три – там буду мастером на все.

Все были довольны.

Скоро показался аул; горцы обратились ко мне со словами: «Гильдаган, Гильдаган!» – так звали наше селение, когда мы пришли к саклям. Начали сбегаться все родные и знакомые, начался плач. Я вошел было следом за ними, но мне показали другую саклю. У семейства, которому я принадлежал, было три сакли. Горцы обыкновенно располагаются таким образом, что сакля самого младшего брата строится между саклями среднего и старшего; последняя приходится с левой стороны, следовательно, сакля среднего брата будет справа от младшего, моего горца. Там меня встретила девушка Хорха, сестра моей хозяйки Цапу, жены Абазата. Обменявшись саямом, я сел у стены на завалину. Со двора послышался зов; Хорха, выслушав приказание, тотчас поставила передо мной как-то оставшиеся куски сыскиля с *биремом* (горцы, когда время пищи, тогда только и стряпают; куски остаются редко. Все это делается по мере. *Бирем* – давнишнее квашеное соленое молоко, беспрестанно разводимое то водой, то молоком, с приправой соли; кадушка стоит круглый год. К сыскилю подают в небольшой чашечке этого бирема ложки три).

Не прошел час, как вдруг поднялся сильный рев и крик: старик умер. Девица была без чувств, любя Абазата, зная тоску его; пришел Абазат и, ударившись в стену, начал плакать. Было не до меня, я вышел вон.

Умерший старик Мики заменял им всем родного отца. Место старшинства в фамилии занял родной брат умершего, Ака.

На плач и терзание Дадак я вышел было помочь другим удержать ее; но горькое ее: «Урус! Урус!» – заставило меня воротиться.

К вечеру замолкло все. На поминки была заколота корова. Ака сам принес мне ужинать, научал Абазата, как меньшего из рода, обращаться со мной ласковее, ободрял меня, говоря, что я замену Мики, что мне будет хорошо, что они знают Бога, и что хотя у них нет такого белого хлеба, как у нас, но что будут рады всему, что Бог послал.

Наутро старика схоронили. Много собралось народу из уважения к убитому на поле брани, и после того посещения продолжались долго. Каждый, придя на место памяти, должен остановиться перед толпой: все приподнимаются и читают посмертную молитву, где в конце, при слове «фата'а», охватывают свои бороды.

Каждый раз я был подводим перед такое собрание. Босой, выступал я мерно и твердо, притом зная их полный аттестат – отважную поступь. Все любовались; при взгляде же на мои ноги покачивали головой: приметно жалели, что на них скоро нарстет кора. При моем: «Эссалям алейкум!» (Да будет над вами благословение Господне!) вся толпа учтиво приподнималась и отвечала мне тем же: «Ва алейкум эссалям!» (Да будет благословение также и над тобой!).

Горцы предполагали, что я сын сардара, то есть значительной особы, или министра, или сын какого-нибудь генерала, что я переодетый в солдатское платье офицер, и потому вступали со мной в суждения о многом через двоих, бывших тут, знавших хорошо по-русски. Требовали моего мнения: как лучше им нападать, с которой стороны, представляя, что удобнее на арьергард; смеялись над нашей попыткой пройти Ичкерийским лесом. Любопытные, они хотели знать, как живем мы, и когда я рассказывал им о наших знаменитых городах, все дивились, восклицая:

– Астафюр-Аллах! Астафюр-Аллах!

Любознательность их простиралась далеко. Они любят поговорить, зато мастера и посмеяться, если видят, что нехорошо. Умеют ценить дорого достоинства в человеке, но в азарте и самый великий человек может погибнуть у них ни за что.

Когда я сказал, что умею читать Коран, тотчас принесли книгу и заставили показать свое умение на самом деле. Экзаменатором был мулла.

Они говорили:

– Останься у нас: ты будешь офицером.

– У меня есть мать, сестры и братья, а здесь все чужие; но поживу и посмотрю, – говорил я.

Вот как началась жизнь моя: со мной обходились хорошо. Первую ночь я провел один, с шелковиками (считаю лишним говорить, как разводят червей. Шелк, переваренный или самые куколки, теребят в руках, как вату, и прядут. В некоторых местах горцы сеют и хлопчатник). Встав утром, я умылся и утерся своим полотенцем, которое всегда было со мной в походе и служило, как невесте покрывало, защищая от зноя, тут я должен был отдать его своей хозяйке, удивляясь ее просьбе, и после уже утирался рукавом рубашки, пока была, а как изнасилась – обсучивался перед огнем. Я покорялся всему, потому что не видел насилия.

Через пять дней Ака купил меня за ружье в три тюмена (или в тридцать рублей серебром, там торговля больше меновая). Он, как поопытнее других, предполагал, что я не солдат, и надеялся взять за меня большой выкуп. Отгибая завороты шапки, часто он говорил мне:

– Вот если дадут за тебя эту полную шапку серебра – отдам.

Но на мои слова, что я солдат, что он не получит и трети того, он скоро набрасывал ее на голову и начинал пошаривать угли в своем камине.

Чтобы вывести его из печали, я радовал его словами:

– Ты знаешь ведь солдатскую жизнь: лучше ли мокнуть на дожде или вот так сидеть с тобой у огня? Хотя я не работал, но привыкну и буду во всем помогать тебе.

Он улыбался, покачивая головой.

Я начал мало-помалу привыкать к их обычаям и делать свои филологические усилия. Даже на другой день по взятии меня в плен я переписал множество «общежитных» слов от мальчика, бывшего у нас в *аманатах* (*аманат* – арабское слово, означает *заложник*, от *амана* – верить), и потому-то мог объясняться кое-как. Да и чеченцам хотелось, чтоб я скорей научился понимать их, и для того давали мне все средства. Часто зазывали нарочно хорошо знающего по-русски.

Они простосердечно говорили:

– Если ты будешь у своих, то все-таки тебе пригодится: ты будешь там переводчиком.

Хозяин хвалил меня всем, говоря:

– Ва куран диаша, ва джайна диаша, язунчи; дерриге-ха! (Читает и Коран, и Джайну, пишет по-своему и по-нашему – словом сказать, знает все до капли!)

Если я хотел сесть к огню, все расступались; мальчишек отгоняли прочь.

Часто собирались или родные, или знакомые тужить о покойнике. При встрече их из разных хижин поднимались все фамильные и соседи. Не доходя до дома шагов с десять, начинали завывать: кто с сильным плачем рвал на себе волосы, кто, поджав ноги, бил себя по лицу и в грудь – и безобразили себя таким образом. После чего все садились в кружок перед поставленным блюдом с яствами. (Их пища: кукурузный хлеб – *сыскиль*, вареная кукуруза – *ажиг*, молоко – *шир*, кислое молоко – *шар*, творог – *калд*, масло – *хакыр*, пшеничный хлеб – *бешик*, блины – *чапильгиши*, мамалыга – *худыр*, черемша – *тханку*, галушка – *гальишиши*, лапша – *гарзыньши*, и самое лучшее – *джижик* – мясо. Прочее – все сласти.)

От мужчин не требуется такого рева. Над ним смеются, если он чуть пригорюнится. При таком собрании они выходят из сакли во двор и составляют свою беседу о смерти; если же прошло недели две, как умер покойный, то они говорят не о жизни его и общей, а о своих набегах, о распоряжении своего падчши и его наместников, наивов.

Я мог заглядывать в саклю. Когда церемония оканчивалась, вдруг переменялся разговор и у женщин, как будто все здорово и никто не умирал. Тогда входили в саклю и мужчины и составляли два круга: мужчины у огня, женщины близко к порогу или в углу. Я же наблюдал их обычаи, как будто не понимал и подсаживался то к серьезным, то к чувствительным, особенно когда между ними были девушки или дети, и рассматривал их рукоделие: кто шил, кто сучил шелк, кто прял бумагу.

Если приходят посидеть, то никто не сидит без работы: или приносят свою, или берут у хозяйки дома; особенно девушки должны показать свое трудолюбие.

И вот в таком кругу кое-что шилось и для меня. Прехорошенькая девушка, казалось, довольна была своим занятием: она беспрестанно спрашивала меня:

– Хорошо ли так?

– Дука дики-ю! (Очень, очень хорошо!) – смеясь, отвечал я.

Своим любопытством нередко я приводил в смех все собрание, тогда выбиралась мне невеста: стыдливые закрывали лицо своим рукоделием; которые посмелее говорили Аке о его дочери: ей было уже пятнадцать лет. Худу, или Ганипат, была довольно порядочная девушка. (Женский пол имеет все по два и по три имени. Иногда и мальчик носит два.)

До сих пор я жил между горцами без работы, без обязанностей пленного, или, другими словами, раба. Кончилась эта беззаботная жизнь к моему удовольствию. Начались полевые работы – занятие чеченца. Я был рад помогать им, боясь, чтоб они не упрекнули меня своим хлебом.

Подходило время полоть кукурузу, или, как они называют, *ажгшиь-асир*. Ака, чтобы не обременять меня, видя мое неуменье, собирал два раза помощь, состоявшую из девушек. Тут я то одной, то другой пособлял, как бы они задавали себе одна перед другой уроки; но чтобы не обидеть ни одну, я помогал каждой: и так они не знали, которая мне больше нравится.

Кто еще не слыхал обо мне хорошенько и считал обыкновенным пленником, часто просили у Аки себе в работу, кто на день, кто на два; но Ака, хотя и против обыкновения, всегда отказывал. Мне прискорбно было смотреть на хозяина, когда просившие, косясь на него, отходили недовольными.

* * *

Дни проходили за днями, я становился задумчивее. Грусть, что я лишен свободы, не давала мне места. Не было обширного поля, где бы я мог разгулять тоску!.. И в этой сонной жизни от дремоты и бездействия я развлекал сам себя в своем одиночестве: каждое утро, когда

еще все тихо, я бродил вокруг своей сакли; но люди и тут отнимали у меня последнее. Горцы не понимали причины моей тоски и уверяли хозяев, что во мне кроется какой-нибудь замысел черный; они часто твердили моему Аке о кандалах, говоря:

– Бергыш уин-бу! Бергыш уин-бу! О, борс-йя! (Глаза его непутны, он смотрит, как волк!)

Это был месяц моей свободы, которую я потерял: тут же тихо прошел целый месяц пленнической жизни моей между чеченцами. Приказ Шамиля – «всех, какие ни есть пленные, скрывать и смотреть за ними строже» – нарушил эту тишину.

Двое пленных из солдат, убив девять человек горцев, бежали – и это было причиной строгости.

Два мюрада, мулла и человек пять зрителей пришли под вечер к нашей хижине, где я тогда, прислонясь к стене, стоял, задумавшись, а мои хозяева и соседи кто на арбе, кто на земле просто сидели и провожали день рассказами.

– Ака! – сурово вскричал мюрад, подходя к нему с ружьем под мышкой, опущенным к земле. – А ты все-таки не куешь своего пленного, надеешься на него? Не слышал, что сделали его братья?

– Он мне достался недорого: и если уйдет, то потеря моя; а не кую – он знает Бога, так же как и мы; надеюсь, что мы все будем живы, – отвечал Ака.

– Мича бурджуль? (Где кандалы?)

Ака снял шапку, подражая нашим, и начал упрашивать; но неумолимый кричал зверски:

– Са-еца бурджуль! Са-еца! (Давай сюда оковы!)

Хозяин кинулся было в саклю, крича:

– Са топ! (Ружье!)

Дело доходило до боя. Двоюродный брат Аки – Янда, мулла и я ухватились за него.

Я говорил:

– Бурджуль катта-бац! (Кандалы – ничего!..)

Абазат снял со стены конские кандалы и подал их мюраду, который уже обнажил было свой кинжал. Я опять прислонился к столбику под навесом сакли и отдавал мюраду свои ноги: ворчавший, как ворон на добычу, он вдруг замолк и, вложив кинжал в ножны, дрожа, замкнул на моих ногах замок со словами: «Гници дикин-ду!» (Теперь хорошо!). Ключ взял себе и пошел, выпрямляясь важно; за ним и другие...

Считая себя лицом важным, я был тогда собой доволен; брэнча, вошел в дом и сел к огню, любуясь своим украшением... Ака сел со мной рядом и молча, передвигая на своей голове шапку, небрежно раскидывал угли. Дадак и жена покойного Мики укорили меня, для чего я дался.

– Если бы я хотел бежать, – говорил я, – то для меня это худо; но мне все равно и с ними.

– Сабурде, Судар, сабурде! (Подожди!) – говорил взбешенный Ака. – Я поеду к Шуанну (Шагиб был наместником в этих улусах) и, если он не позволит, к самому Шамилю; а ты не будешь в кандалах.

– Катта-бац! Катта-бац! – говорил я.

Когда легли спать, и я также по-прежнему вместе с Акой на одной постели, Ака вздыхал при каждом звоне и повторял:

– Сабурде, Судар, сабурде!

Наутро принесен был ключ: я был раскован тотчас же. Но на ночь должен был надевать их опять. Прошел пыл, Ака уже не в силах был преступить приказание старшего: удовольствовался тем, что я буду скован только ночью. Никогда он не хотел сам надеть кандалы на меня и не осматривал, когда был скован: моим ключником был двоюродный его брат Яндар-бей (лет семнадцати). Как виновный, он подавал мне эти бурджуль, я сам зажимал их и вытягивал ноги, показывая, что замкнул.

Скованный, каждый вечер я только пел что знал, никто не мешал мне; не осмеливался подбегать ко мне и малютка-черкес (сын Аки), который раньше часто засыпал у меня на коленях. Когда я оканчивал свое пение и входил в саклю, Ака просил меня пропеть еще что-нибудь и был доволен моим послушанием. Перед ужином или обедом он видел, как я крестился, и не осуждал, предостерегал только, чтобы я не делал того при посторонних.

– Подумают, – говорил он, – что ты не хочешь у нас жить.

Чуть утро, хозяин подавал мне ключ, и я, сняв кандалы, шел тотчас же выпускать скотину на пастьбу.

Все богатство Аки состояло из пары волов и коровы; лошадь – это первое условие лихого горца – была отдана за меня прежнему моему владельцу, Абазату.

Вычистив хлев, я шел опять в саклю, брал кувшин и умывался, почти по примеру их, перед своим домом; кончив омовение, отирался рукавом своей рубашки, молча на восток прочитывал молитву, означал над дверью день углем, заранее для того приготовленным. Такой был у меня календарь, не заметный никому в доме, входил в саклю и садился перед камином, поджав ноги; разводил огонь, как жертвенник, и с его улетом посылал свои чувства и мечты на свою родину. В сакле еще все нежились; огонь разгорался, дровяной треск поднимал ленивых: один за одним они подсаживались; я уступал место и придвигался к стене, что к порогу. Из них каждый по-своему разгребал или сгребал угли: жертвы были разные, огонь терял привлекательность, и мечты мои разлетались врозь. Ненадолго уже я оставался тут и выходил на простор; солнце выкатилось, и зарумянились седые чела громад вековых! Как отшельники от мира, они угрюмо смотрят на все земное!..

* * *

Мечтаешь, мечтаешь, вдруг повеление:

– Судар! Хажиль, хича бежениш? (Посмотри, где скотина?). – Если не отошла еще которая далеко, идешь прогонять дальше.

Но день становится уже полным днем: все картины накрываются облаками – и горе тому, кто проспал утро!.. Все начинают суетиться. Где увидишь верхового, в башлыке от жара, где пешего, с сумкой за плечами, с винтовкой из-за плеч, идущего на месть; где толпой идут тихо, фанатически напевая: «Ля илляга, иль Алла!», из набега или в набег; *биширак*, или знамя, развевается у переднего джигита (молодца) (кто уверен в своем молодечестве и верным считает коня своего, может иметь подобный значок. Правда, всякий предводитель имеет свое знамя; но в его команде таких значков несколько, смотря по числу джигитов (молодцов, *маюра-стаг*), из которых всякий по своему вкусу прибавляет к древку лоскут одноцветного, двухцветного и разноцветного сшивного полотна); где видишь женщину с ребенком за спиной, подобно молдаванкам (ребенок, когда в состоянии ползать, становится к стене, и мать, приседая, берет его ноги вокруг себя, и он руками обвивает ее шею; малютку же носят на руках, как и наши); где несколько женщин идут или поплакать над кем, или к кому на помощь; где две, три девушки, иногда с женихом, идут за черемшой (черемша – особенное растение на Кавказе; листья ее подобны ландышевым, но продолговатее; их солят, как капусту, и употребляют в наших лазаретах, как лекарство. Зимой корень ее горцами употребляется вместо хрена; весной же молодую они варят в воде, тогда она имеет вкус спаржи; также жарят в сале и масле. Употребляется в пищу и нежгучая молодая крапива, перетираемая с солью); где целая вереница женского пола – это древние самарянки – идут с кувшинами за водой (женщины носят воду в больших кувшинах, медных или глиняных, ведра в полтора. Одежанием походят на самарянок: одноцветная рубашка (больше красная), со вставным сзади синим четырехугольным лоскутом до пояса и на плечи *ахалуши-гауталь*; побогаче кто – с украшением из серебряных пряжек во всю грудь; победнее – с медными, посеребрёнными. Зимой носят тулупы (*кетыр*). В пригорных местах

вообще женский пол под покрывалом, хотя и откидным, но которое при встрече с мужчиной тотчас опускается; в горах же без покрывал). Иногда слышишь скрип арбы с двумя мешками: тощая пара волов повинуется гиканью седока; где из-за леса покажется полунагой, но с кинжалом за поясом, влача за *налыгач* своих рогатых, лениво тащащих воз дров... Все скучно!.. Вот опять показались два мешка с мельницы (мельницы их очень просты. По желобу бьет вода в спицы перпендикулярной реи, на которой укреплен жернов без всяких колес и железа. Подобные, как я слышал, есть в некоторых губерниях. Толчеи тоже просты. Вода бьет также по желобу в четыре доски крестообразного колеса, так что на одном конце вала два бруса, сделанных крестообразно, на каждом конце которых по доске; на другом конце вала три-четыре кулака, поднимающие брусья, лежащие параллельно земле, в середине поднимающиеся на оси; в концах их вделаны продолговатые цилиндрические камни. Ступы же выдолблены в кряже, вдаванием в пол. Железа также нет), и я еду к своему окну, и клонит меня в сон. Пообедаем, в тени у сакли ложусь спать и сплю крепко. Проснусь – праздные давно уже собрались провожать день: толкуют о боях, об оружии; каждый хвалится своим доспехом; играют, забавляются, как дети. Подъедет гость, занятия оставляются, все приветствуют (вежливость повсеместна. Мужчины, хотя вовсе незнакомые между собой, при встрече друг другу отдают «саям». Знакомые приветствуют пожатием руки, всегда правой); хозяин берется за повод и просит приезжего снять ружье. Если тот соглашается, то при входе в дом вынимает из-за пояса кинжал и пистолет (стыдливость почитается признаком добрым. Никто, даже из маленьких, не войдет в дом врасплох, не вызвав наперед кого-нибудь).

III

Вечера. – Возвращение к Абазату. – Суд над Абазатом. – Сирота Даланкай. – Правила воспитания. – Полоумный Ажгир. – Друзья Абазата: Яна и мулла Алгозур. – Снятие кандалов. – Пленные солдаты. – Покос. – Встреча с Шамилем. – Мужик Петр. – Незабвенные слова Абазата. – Два дня в лесу.

Смеркалось – я садился у порога и опускал голову, полную дневных картин; темнело – входил в саклю и искал новых картин в своем огоньке. Тогда я был на родине и пристально смотрел на картину семейную; представлял себе своих товарищей сидящими со мной у этого горского камина, где они не искали бы ни диванов, ни кресел, ни стульев. Ложился, когда укладывались все. Бренча кандалами, часто бредил, призывая старшего брата, как отца нашему семейству.

Поутру Ака расспрашивал, кого я поминаю, не жену ли или какую возлюбленную, и что такое «Ах, Господи! Ах, Господи!».

Дни пролетали, а новые наносили новой тоски. Часто говорили:

– Самагатти, самагатти! (Не скучай!) Привыкнешь, а здесь будет хорошо.

Часто Ака уговаривал меня оставить свою веру и принять их: может быть, ему хотелось выдать за меня свою дочь. Он говорил, целуя мои руки:

– Живи у меня, Судар: может быть, я скоро умру или убьют меня, а останутся дети – и некому будет присмотреть за ними, а тебя они любят.

Веры переменять я и не думал; принуждения же у них нет. Если пленный не хочет жить, то говорит прямо: продай меня такому-то или кому-нибудь; я не хочу у тебя жить. Удержать нельзя: всегда сковывать – не поможет: в кандалах плохой работник. Хозяин боится побега и продает.

Еще как взяли меня, они говорили, что скоро отдадут назад русским; сначала я верил и не брил своей головы с месяц; но после все нет да нет, и однообразные картины, и ничего занимательного – невольно заставляло думать о родине. Я часто спрашивал, скоро ли отдадут меня, тогда Ака, может быть притворно, со слезами говорил мне:

– И ты не хочешь жить со мною?

– Хотел бы, – говорил я, – но у меня есть мать, братья и сестры, а здесь народ беспрестанно укоряет меня понапрасну и ругает как гяура.

– Ну, если не хочешь, иди назад к Абазату.

И отдал.

Абазат взял с радостью, а я загрустил больше, думая, для чего я обидел Аку: быть может, со временем было бы мне и хорошо; а для чего я сам так дерзко распоряжаюсь собой, когда теперь, ничтожный, должен бы вовсе отдаться на произвол своей судьбе. Абазат наконец не вытерпел, видя меня печальным, и начал говорить:

– Разве я хуже Аки, что ты тоскуешь? Если бы я не любил тебя, не взял бы назад, когда уже продал совсем. Не то я продам тебя в горы ни за что: отдам за одного барана.

– Я не сомневаюсь в тебе, но к Аке я уже привык.

Мы насилу помирились.

* * *

Еще до меня Абазат, как удалой, похитил в одном ауле лошадь и продал ее русским; хозяйева лошади не хотели ничего как только воротить покражу, а русские просили за нее пленного; розыски и переговоры продолжались, и Абазат надеялся отдать меня, потому-то я все и ждал. Но воротить лошадь не удалось: она переходила у наших из рук в руки. Абазат был посажен в яму на пять дней. Пищу носила ему Хорха, его любимица; я, как неприлично мужчине нести женские повинности, только посещал его. Наконец он был приговорен к смерти. Мюрады конфисковали все его имение, остался один бычок; двоюродный брат Абазата, Янда, отдал быка; Высокай, его тесть, отдал свою лошадь. Все это досталось истцам.

Уважая род Абазата и его собственное молодечество, жители нашего аула собрались к наibu просить виновного на поруки. Все кровли хижин покрылись любопытными провожать осужденного. Абазат шел весело, издали прощаясь со всеми родными. Дадак, как героиня, не отстала от мужчин.

Такого чувствительного и нежного сердца, как в этой женщине с геройским духом, я мало встречал и между своими.

Возврата все ждали к вечеру. Вдруг крики «Ля илляга, иль Алла! Ля илляга, иль Алла!» подняли всех оставшихся ауле. Все с нетерпением хотели знать решение наместника: Абазат остался у наiba в заключении.

Скоро суд кончился, и мой хозяин воротился таким веселым, как и перед приговором. Мы зажили по-прежнему.

Абазат и я, его жена Цацу и племянник Абазата, сирота Даланбай, составляли наше семейство.

Роскошная природа, доброта Абазата и крепкая надежда на возврат по временам делали меня веселым гостем. Как после исповеди, так после тяжких трудов, если не мило все, по крайней мере ничто не тревожит нас. Видя в горцах тех же людей и смотря на их вечерние молитвы, когда человек, как бы прощаясь со светом, отдается тьме, умилительно прося осенение своему бездейственному телу, я родился с ними. А всякое призвание Бога, в ком бы оно ни было, порождает в нас какое-то сострадание; я предался моим мечтам и был еще доволен, что судьба так милостиво водит меня по извилистым путям, я приятно забывался!.. Тоску ничем иным не считаю я, как греховным бременем на слабом теле. Бодрость духа есть благодать, ниспосылаемая нам свыше за безусловную любовь нашу к людям и надежду на вечную жизнь. Сами мы бываем причиной своего горя, и если бы мы постоянно любили друг друга, не видели б суровых дней. Когда человек весел, ему все братья. Откровенно говорю я о состоянии души моей, когда

мне было весело и когда тяжело. Было весело – когда надеялся, и тяжело – когда сомневался. Жизнь моя у горцев была переменчива, и тоска моя об этом была наказанием за грехи мои.

* * *

Одноаульцы, приятели Абазата, мулла Алгозур и Яна, часто посещали нас. Мулла благоговейно говорил о догматах и жизни вообще, Яна иногда вступал с нами в суждение, Абазат большей частью слушал покорно.

Когда являлся в такую беседу брат Яны, полоумный Ажгира, и своими неуместными вопросами перебивал речь, все смеялись, подшучивали над Ажгиром, не оскорбляя его, и тогда беседа делалась еще веселей.

Из разговоров я ловил незнакомые слова и тотчас записывал углем на стене или на потолке. В сакле не осталось чистого места, где бы не было написано. Иногда они сами сказывали мне свое слово, зная, что оно мне незнакомо.

В какой сакле был я, туда все и собирались. Любуясь вечерним небом, я уходил от сакли и ложился на мягкий луг, помечтать на просторе. Тогда подходил ко мне Яндар-бей, видел, что я смотрю на небо, объяснял мне звезды, служащие им проводниками во время ночных грабежей. Звезда против Каабы, «кильба-сияда», у них главный маяк. Но осторожный Ака, боясь, чтобы эти толкования не послужили мне в пользу при побеге, заставлял Яндар-бея сдержаться. Когда оставался я один, было мне спокойнее. Думая, что я уединяюсь от тоски, Яндар-бей если не сам, то был посылаем ко мне, чтобы развлечь меня, и больше надоедал мне. Он хотел привлечь меня к себе рассказами о разных разностях и не скрывал от меня ничего, о чем только я ни спрашивал, кроме того, что могло служить к побегу.

* * *

Неприятен был Даламбай Цацу. Без Абазата он беспрестанно плакал, произнося: «Мецэ-у!» (Я голоден!). Цацу называла его обжорой – *сутур*; ребенок больше капризничал и обещал пожаловаться Абазату; но когда, чтоб заглушить крик, Цацу кормила его, тогда он, несмотря на все ее насмешки, спокойно кушал, не по своему возрасту. Часто проказничал на огороде, и когда я говорил Абазату, что его надо бить за проказы, жалостливый Абазат отвечал:

– Он *буа* (сирота), кто его приласкает! Если он проказничает, то еще мал, а это значит, что он будет удалой. Он будет настоящим Даламбаем, который так много отличился своим удалством против русских. Побоями ничего не возьмешь, а только заглушишь в нем все, и он будет бабой; вырастет большой – не станет делать глупостей и будет джигит. Ест он много – значит, будет богатырь.

Вскоре он отдал его куда-то на всю зиму от своей жены, потому что сам не надеялся быть всегда дома. Цацу была рада.

Дни большей частью проходили у нас в игре в шашки, а вечера в разговорах. Так, однажды вступил я в суждения с муллой: тут больше уверились, что и мы знаем Бога, когда мулла подкрепил, что я знаю всех пророков и закон Магомета.

– Недаром, – говорил Абазат, – завещал покойный Мики смотреть на тебя не как на других урусов! Ты останешься у нас, и можешь быть муллой.

Ложимся спать, и я по-прежнему спрашиваю у своей хозяйки кандалы, как всегда бывало; постлав мне войлок и под голову седло, она клала передо мной эту железную закуску.

Абазат отвечает:

– Не надо! Так и быть! Уйдешь так уйдешь. Может быть, еще и убьешь кого-нибудь из нас, но тогда ответишь Богу, а Он у нас у всех один!

Сильно тронули меня эти слова, и я сквозь слезы мог только сказать:

– Будь уверен, Абазат, что я умею дорожить доверенностью и не изменю.

Не раз и прежде они говорили мне:

– Не сердись за то, что мы сковываем тебя: мы еще хорошо не знаем твоего сердца. Дики на хаи дек хюа! Поживешь, не станем заковывать, не посмотрим ни на кого в ауле.

Так и было.

Плакал я, когда видел в «дикарях» проявление таких чувств!..

* * *

В ауле было два солдата пленных, и все мы виделись друг с другом. Часто Ака, чтоб показать народу, что мне у них жить хорошо, брал с собой к мечети, куда они по вечерам собираются беседовать, просил быть веселей, посылали тотчас за солдатами, втроем мы разговаривали, прочие слушали. Солдаты просили меня писать письмо к своим, но я отговаривал.

– Если они не захотят отдать нас, то не отвезут и письма, а, замечая нашу тоску, будут больше присматривать за нами. Будешь пока жить, – говорил я.

– Какое жительство с ними, собаками! Вот нашел людей-то! Тебе, верно, не хочется на свою сторону!

Что оставалось мне говорить таким разумным! Я отвечал:

– Да, у меня не то сердце, что ваше, и нет также родных!..

При разговорах все присутствовавшие обращались к нам:

– Ты мужик, и ты мужик, а это князь.

Ненависть была явная. Когда они приходили ко мне, я всегда чем только мог угощал их, как хозяин: срывал на огороде огурцы, арбузы и дыни, а хозяйка приготавливала тотчас сыскиль.

– Вот видишь, как живешь ты! Что же понесет тебя к своим!

Вот как понимали они ласку моих хозяев и злобно завидовали моей жизни. Покушали и не поблагодарили даже, хозяева только улыбались, прощая им грубость и принимая их единственно для меня.

Но о родине нечего говорить, когда она воспета хорошо. Хотя они и желали на родину потому только, что в плену им было хуже, чем у своих. Я не хотел обижать их, не хотел также и оскорблять ими своих хозяев – и перестал к ним ходить и звать к себе.

* * *

В начале августа начался покос. Первый мой опыт, или урок, был помогать Яне. Все мои хозяева отправились с косами, меня же взяли безо всего.

– Что же я буду делать? – говорил я им.

– Катта-бац! Будешь смотреть; может быть, поучишься да поешь хорошо: там будет много мяса.

Пришли на покос, стыдно было мне взяться за косу. Народу человек тридцать, но только половина из них была с косами, и так одни сменялись другими. Ака показал мне место под деревом, чтобы я лежал.

– Ях дац! (Стыда нет!) – говорил он.

Началась работа, один говорит:

– Ну зачем же ты сюда пришел? Коси.

Я взял у него косу и начал стараться, но он, выхватив ее, заревел:

– Даваля! Уаха! (Долой! Ступай отсюда!)

Досадно и стыдно было мне. Спустя немного, стали завтракать, я отговорился, тогда все удивились моей стыдливости и уверились в моем неуменье. Еще немного, стали опять подкрепляться, но я опять отказался, что как не работал, то и не должен есть.

– О, дики кант у! – говорили они вслух.

Сын Яны, мальчик лет четырнадцати, во время отдыха других учился косить; Ака, смотря на него, говорил мне:

– Неужели ты не сумеешь? Ну как-нибудь! Потешь нас и хозяина!

Я взял косу и прошел ряд, потом другой, и после уже не отставал от других; сменял часто и солдата, которому никто не помогал.

* * *

Горцы косят справа и слева, не как наши – в одну сторону. Косы их легкие, плоские с обеих сторон, в длину не более трех четвертей; конец немного загнут; косник выгнут в середине и без ручки, как у наших. Снимая сено с рядов, тоже вороченных, как и у нас, сначала кладут маленькие копны – *канча* (что можно взять вилами); потом из трех или четырех таких канчей составляют одну, и эти уже к вечеру по три складываются в копны – *литта*; а на другой или третий день, смотря по солнцу, кладут небольшие стога – *холи* – арбы в две. В подгорных аулах на зиму в скрытых местах кладутся стога большие, арб в десять и больше; если же нет удобных мест, то сено складывается небольшими стогами в разных местах леса. Иногда прямо из канчей кладут большие копны – *такор*, которые уже по осени возят на арбах в стога. В арбу идет два или три таких такора.

На мелкие клочки сено раскладывается для того, чтобы лучше уминалось, и стог не осаживается уже после; а чем плотнее он сложен, тем невредимее от дождя.

Литты носят они шестами, на концах которых с одной стороны вделаны жердочки; острыми концами шестов продевают под копны и волокут очень легко.

* * *

Собирались косить и мы, начались приготовления. Верст за десять отправились мы с Абазатом в кузницу точить свою косу; он точил, я вертел точило. Вдруг крик «Ля иллага, иль Алла!» заставил нас бросить работу: это ехал Шамиль благодарить жителей всех аулов за Ичкерийский лес. Над ним виднелся зонтик, придерживаемый одним из его телохранителей, ехавшим верхом же с ним рядом. Это было недалеко, и я не мог рассмотреть всего; осенью же я видел Шамиля хорошо, когда он проезжал Гильдаган. Он ехал на серой яблочной (уважаемый цвет) лошади, передовые ехали в сажнях тридцати от него, а рядом с ним наиб, позади вся свита, человек из пятидесяти, где несли секиру, или алебарду на древке, как эмблему смерти за неисполнение законов. Он проехал молча, только взглянул на меня; наиб же приветствовал меня с усмешкой:

– А! Иван!

Вообще горцы всех русских называют Иванами.

Шамиль – стройный мужчина (в то время лет сорока, но говорили, что ему сорок пять), лицом бел, длинная окладистая черная борода; лицо умное, но с каким-то равнодушием, и нет ничего, что бы заставило разгадывать. На голове его чалма с разноцветным тюрбаном; сверх обыкновенного платья надет был черный овчинный полушубок (мужчины вообще носят полушубки черного цвета, женщины – белого), покрытый шелковой материей с черными и розовыми полосками.

* * *

Скоро мы всей фамилией начали свой покос. Тут я косил уже взапуски; но ревность к работе они удерживали и заставляли отдыхать вместе, а в день доводилось отдохнуть раз десять. Они говорили:

– Нам стыдно одним сидеть и есть, мы устали, так и ты садись.

И у горцев, так же как и у нас, покос считается тяжелой работой.

– Страда, – говорят они; и к этому времени хозяйки припасают масло и сыр своим мужьям.

* * *

Ака и после, как старший в роде, все-таки был старшим и надо мной. Часто заботился, не голоден ли я, часто вызывал меня к себе и угощал теми огурцами, за которыми ходили я и его дочь, говоря:

– Это вот плоды твоих и ее рук.

Худу улыбалась и вместе с отцом повторяла:

– Судар, я! Я! (Кушай, кушай!)

Жена Аки – Туархан, Чергес, Пуллу и двухлетняя Джанба – все твердили:

– Я! Я!

Старшие говорили:

– Послушай, Судар, Джанба и та тебя просит.

Напоминая таким образом о своих ласках, Ака уговаривал меня перейти опять к себе, ссылаясь на Абазата, что у него нечего делать и что он потому продаст кому-нибудь. Абазат, замечая это, в свою очередь говорил мне, что и у него не хуже Аки, что Ака не джигит, что он достанет себе лошадь и будет чаще в набегам, и что тогда будет у меня все платье.

– Я знаю, Судар, – говорил он, – почему ты тоскуешь: не одет? Вот потерпи: я достану платье, и мы заживем!

Много за меня доставалось Цацу, когда она напоминала ему, чтобы продал меня, что у них работы почти нет. Он же, надеясь на свое удалство, хотел сделать меня домоседом. Не раз шутя говорил он мне, когда уходил куда надолго, как, например, на недельный караул:

– Ну, Судар, если ты захочешь уйти, то не уходи так, а голову долой моей жене. Вот топор в твоих руках.

При такой шутке боязливо морщилась моя хозяйка и в самом деле никогда не оставалась со мной одна на ночь, а всегда призывала кого-нибудь.

* * *

На все просьбы родных и знакомых моих хозяев отпустить меня к ним на работу Абазат отказывал всем, кроме своего тестя, просьбе которого он уступал нехотя и потому только, что тот отдал за него лошадь. Этот старик, Високай, надеясь за долг взять меня, уговаривал меня перейти к себе, обещая отдать за меня свою дочь Хорху; но с намерением, как объяснил мне Абазат, из-за барышей перепродать в горы, где пленные ценятся втрое дороже, чем в пригорных местах, где более возможности к побегу. Я не отказывался, а ссылаясь на Абазата: как он хочет; между тем сам упрашивал не продавать; Абазат обещал. Раз, выпросив меня себе, он отдал своему племяннику, без ведома Абазата; мне отказаться было нельзя, и я должен был работать день на нового хозяина. Тут не мог я смотреть без жалости на пленного, взятого под

Кизляром. Он зависел от пятерых, бывших в набеge, и потому работал на каждого из них понедельно, следовательно, не имел отдыха. Оборванный, всегда в кандалах, он должен был трудиться, не смея отдохнуть без позволения своего хозяина; а это был один из пятерых злодеев. Но, несмотря ни на свою наготу, ни на старость, ни на кровь, текущую из-под гаек, разогретых солнцем, Петр не унывал или, лучше сказать, окаменел и зло ругался на свою судьбу. Это был в то время человек, потерявший всякую надежду.

Нельзя было без сострадания смотреть, когда он, по приходе нашем домой, показывал мне то место, где он спит. Оно было под койкой хозяев, где на ночь злая хозяйка всегда заставляла его корытом.

– Вот, посмотри, – говорил он, – как я живу!..

– Что же делать! Все-таки молись!

– И молюсь когда, только поплачешь – и вовсе голодный полезешь под кровать!..

Хозяин этот, как довольно зажиточный, следовательно, жадный к богатству и любивший работать чужими руками, весь день просидел в тени; косу же взял напоказ своим одноаульцам, что будет трудиться; наблюдал только за нами, не давая отдыха. Я, как подчиненный ему, начал говорить о том.

– Ну, ты отдыхай, а Иван (как вообще презрительное имя) пусть косит.

– Нет, если я устал, то он и подавно, как старше меня вдвое.

Когда я заметил ему, что я не работал так и у своих хозяев, он должен был дать отдых. В обиде я занял его разговорами вообще о жизни человека; пенял ему за пренебрежение к Петру; он отговаривался, что он со своей стороны и готов был бы одеть его, если бы он принадлежал ему одному; удивлялся, что я скоро понял их язык и говорил простосердечно:

– Ну ты мне все равно как брат, а Иван – мужик, он ничего не знает, потому и обращаемся с ним так. Теперь ты садись со мной вместе, а Ивану нельзя.

По приходе домой я жаловался Абазату на Високая, что передал меня другому, Абазат отвечал:

– У! Судар, сердце мое болит (док ляза), что я должен угождать этому мошеннику! Что же делать?! Он тесть мне. Да и то бы ничего, если бы не мое горе, я не зависел от него. Ты знаешь, что он заплатил за меня. Как уж я ни угождаю ему! Намедни и сам на него работал; вот и тебя посылаю всегда, как он попросит, хотя мне и совестно пред тобой: все не можешь! Жаль, что должен расплачиваться с ним. Ему хочется ведь тебя, он думает о тебе, как обо всех русских, что ты глуп, вот и маслит тебя, чтоб ты перешел к нему, а сам норовит продать подороже. Нет! Не бывать этому! Хотя я не богат, однако барышничать не стану. Дай срок, Судар; вот придет осень – я достану счет и, может быть, расплачусь с ним. Так, неволью, женился я на его дочери. Я был еще мал, когда остался сиротой; дом наш был богатый, хозяйствовать было некому; и вот покойный Мики женил меня, думая, что она будет хорошая хозяйка; слухи о ней были хороши, а он поверил. Вот каково сиротствовать! Если б жива была мать моя, не было бы этого, она была женщина умная. А богатые, Судар, или которые не знают горя, любят работать чужими руками и, не боясь, ни с кем не поделаются! Если бы ты попал к богачу, разве бы так жил, как у меня? Я делю с тобой все пополам.

* * *

Для пленных, за которых горцы надеются взять непременно выкуп, как казаков или других, кроме солдат, делаются особенные кандалы. На обеих ногах в две гайки, шириной в ладонь, продевается железный прут в поларшина наглухо, так что едва можно передвигать ноги. Если пленный подает подозрение к побегу, то надевают двое таких оков или еще приковывается к ноге цепь, пуда в полтора, конец которой при работе пленник набрасывает себе на

шею; на ночь же конец прикрепляется в сакле к стене. В таких оковах пленные ходят постоянно, сколько бы ни прожили.

Трудно определить, а может быть, и сами пленные бывают причиной такой строгости.

Я видел армянина в этих двойных кандалах и с цепью на ноге. Сначала он был закован легко. Взят он был в плен вместе со своим отцом; через год отец был выкуплен, а за него собиралась еще сумма. Не желая прийти в бедность от большого выкупа, он задумал бежать. Пользуясь доверием или оплошностью своих хозяев, будучи оставлен под присмотром женщины, он ударил ее топором так, что та упала замертво, и сам ушел. Но, к несчастью его, вскоре собрался народ, по обыкновению с собаками, принялись выслеживать его – нашли в тот же день, избili и заковали. Но и тут Провидение дает отрадно вздохнуть: муж Дадак, добродушный Моргуст, как соучастник в доле за него, сжалился над ним и выпросил его у своих товарищей к себе, хоть переночевать. Мои хозяева, как родственники Моргуста, дали мне посмотреть на него, или для угрозы мне, или так, повеселиться, зная этого армянина как артиста, такого же, как и Моргуст в своем роде. Армянин знал хорошо их язык, и они просили его поговорить со мной побольше. Это был другой Тарас Бульба. Когда Моргуст настроил свою скрипку, заиграл, началась пляска, и когда я не соглашался плясать, армянин страшно говорил мне:

– Эх! Не я на твоём месте! Завтра, быть может, с меня голова долой, если умерла та чеченка, которую я ударил! Но посмотри на меня, как я пойду!..

С него сняли только цепь, и он пошел удивительную лезгинку! Плясуны отступили, и воцарилось любопытное молчание!.. Что было в нем тогда – отгадать было трудно! Это был не глупец: когда он говорил, что у него есть мать, жена – и все это бедно, а завтра с него голова долой, слезы градом лились из глаз его – и больше нет! Он вскочил и страшной пляской заживо как бы отпел себя!.. К счастью, через день был прислан выкуп, а чеченка умерла почти следом же за ним, когда он был уже освобожден.

Армянин по-чеченски называется «ермолуа», и этим словом пугают детей, представляя страшное лицо этой нации. Самая поносная и язвительная брань – слово «джюгути» – *жид*. Зерно этого племени брошено и в горы. Там они занимаются больше выделыванием кож.

* * *

Платье, присланное Петру его женой, в год износилось все; выкупа же, трехсот рублей ассигнациями, как он был оценен, жена прислать была не в силах, а барин его не заботился.

– Если выкупит меня жена, – говорил Петр, – то я буду вольный; поэтому-то барин и отступается.

На передачу присылаемого одеяния горцы честны; не знаю, каковы на деньги.

* * *

Пришло время снимать кукурузу; Абазат был в карауле; я с Цацу вдвоем провел два дня в своем загоне, в глуши. Подозрительно и с презрением смотрели на нас встречавшиеся нам, когда мы шли. По обыкновению горскому, как мужчина, я шел спереди; она несла позади меня кувшин и прочие принадлежности. Проводя жаркие дни за работой, мы оба, сидя рядом и поглядывая друг на друга искоса, молчали, как Юсуф и Зюлейха.

IV

Благородная черта Абазата. – Аул Галэ. – Очаровательная дорога. – Красавица Хазыра. – Аккирей. – Возвращение в Гильдаган.

Это время я могу назвать отдыхом в плену: тут, при новой жизни, я был совершенно свободен и приобрел много знания.

Давно мне хотелось побывать в горах и взглянуть на места; но как было пробраться туда? Я часто упрашивал Абазата отпустить меня туда работать. Боясь, что я убегу, он не соглашался. Играли мы в шашки, подходит Високай и отзывает его в сторону; Абазат, бледный, дрожа и со слезами начинает говорить мне:

– Судар! Ты хотел в горы, вот иди теперь с Високаем, если хочешь.

Я смотрел на него подозрительно, не доверяя его тестю, который давно манил меня к себе. Абазат знал мои чувства, понял и теперешний мой взгляд и, больше бледнея, сказал:

– Не думай, Судар, что я тебя продал; если не хочешь – не ходи, я отдаю на твою волю; если пойдешь, бери чем хочешь, что тебе надо: сукна ли на чую, шаровары, шапку ли, полушубок ли, тканья ли – все это будет твое, будь уверен. А не понравится тебе жить там долго или устанешь от работы, приходи тотчас же сам назад сюда.

У меня навернулись слезы; я готовился идти.

Собираться было нечего: пока Абазат привязывал к косинку косу, я забежал в саклю, простился с хозяйкой, сбегал и в другие две, простился со всеми. Ребятишки просили меня скорее возвратиться; пожал я руку своему Абазату и отправился в путь, неся с собой непонятную тоску, что я уже расстаюсь с ними совсем, расстаюсь, следовательно, и с надеждой быть на своей стороне. Было грустно.

Чтобы надеяться на возврат, надо привыкнуть к обычаям жильцов, войти в доверие к ним, уметь пользоваться свободой и ознакомиться с местностью, а в горах приобрести все это нельзя.

Долго шли мы. Проходя аул Галэ, где старик живет зимой, набрали в огороде его огурцов в запас вместо воды, закусили, напились и стали подниматься в гору.

Местность аула Галэ прекрасна. Здесь, мне казалось, не худо было бы выстроить крепость. Аул лежит от Гильдагана в трех верстах на восток. В Чечне, однако же, есть два удобнейших места для построения укреплений. Это в Артуре и в этом Галэ, находящемся в семи верстах от него, идя от Грозной через Артур к Куринскому укреплению (Ойсунгур). В обоих этих аулах хорошие реки; вода не может быть отведена горцами или испорчена, как они это нередко делают, потому что эти реки проходят многими аулами. Главное: через эти аулы дорога в горы; а в Чечне, как я слышал, только и есть два эти прохода, соединяющиеся в самих горах в один. Крепости эти должны быть сильны; тогда отобьется почти вся долина, где рассеяно множество аулов. Доставлять же в них провиант можно через Старый Юрт (Даулет-Гирей), реки Сунжу, Аргун и Холхолой. Весной и зимой Сунжа имеет броды. Можно даже построить через Сунжу и Аргун мосты; Холхолой – незначительна; а чтобы обезопасить мосты и проход – выстроить также укрепление на Аргуне.

В окрестностях этих мест множество лугов в лесу, необходимых для укреплений. Все аулы, находящиеся по этому направлению, невольно тогда должны бы были покориться. Не без урона обошлось бы построение крепости в Галэ, но пункт этот во всех отношениях немаловажный.

Чтобы занять это место, сильный отряд должен собраться в Гильдагане, где место открытое: отряд может стоять безопасно; есть ручьи; на время можно вырыть колодцы, грунт удобен. От Старого Юрта, откуда ход удобнее, этот аул Галэ, мне кажется, верстах в двадцати, не более; от укрепления Куринское – верстах в десяти, но отсюда проход будет затруднителен, по гористому и лесистому местоположению.

Провиант сначала можно запасти в укреплении Горячеводское, что при Старом Юрте.

На Аргуне построение будет совершенно легко – место чистое. Не могу утверждать, хорошо ли это все, как я сказал, но, как думаю и что мог видеть, считаю обязанностью открыть.

Земляные укрепления кавказские не требуют больших издержек; орудия же можно вывезти во вновь построенные из укреплений давних, близких к Линии.

Верст семь все вверх и вверх шли мы дремучим лесом, отдыхали мало, я отставал; Високай родился в горах и был неутомим: часто, уйдя вперед, он поджидал меня. Мы утоляли жажду огурцами; а виноград, вившийся по обе стороны тропинки, как бы сам падал к нам. Наконец мы поднялась на самый хребет; было часов пять пополудни; перед нами развернулась картина чрезвычайная. Старик, дойдя до гребня, спускавшегося ужаснейшей скалой, остановился, подперся и ждал меня.

– Посмотри, каково! – говорил он мне, показывая на разбросанные там и сям аулы, где в тумане, а где ярко освещенные закатывавшимся за горы солнцем. Я вспоминал времена прадедовские и любовался молча. – Ну, что? Зайдут сюда русские?.. Можно провести сюда *вокку-тон* (большое ружье – пушка)?

– Да, нельзя, – отвечал я, любуясь картиной.

Мы начали спускаться далеко вниз; иногда разбегались, едва удерживались где у векового чинара. Кизил, груша, яблоки, орехи и виноград – все было под ногами.

Мы были невдалеке от рокового места, и, хотя прошло уже с лишком три месяца после битвы, запах трупов был несносен и при малом ветре. То спускались, то поднимались мы беспрестанно. Все тихо и глухо было везде; во всем была какая-то таинственность. Я считал себя счастливецом. Наконец послышался лай собак, потом гиканье пастухов (в горах овец пасут по лесам). Обороняясь, прошли мы собак, наконец повеяло чем-то новым! Нам встречались уже ишаки с вьюками (в горах все возят на ослятах): босой вожатый гикает на своего мула, в лесу разносится весть патриархальных времен!.. Солнце садилось все ниже, а в горах была уже ночь. Мы спускались все вниз, послышался горный поток; подходили близко, луна уже светила; показались скалы, доступные лишь птицам. В этих громадных берегах вился ручеек, где мы омыли ноги. Когда поднялись опять наверх, везде было глухо; луна освещала перекаты горы, но все еще было далеко и высоко. Вдруг пришли к обрезу – послышался аульный шорох: сердце находило себе отдых, все звало на покой; мычанье скота напоминало какую-то беззаботность, жизнь безопасную, как бы тут вовсе никогда не знали брани. И в самом деле никогда нога русского еще не была там. Аул был Гюни, жители – чеченцы, или нохчи, но особого названия – *гюнон*. Месяц светил; из-за деревьев белели глиняные сакли. Старик остановился и вскрикнул – отворилась дверь, и осветилось огнем мирного камина лицо прелестной девушки. Это была Хазыра.

Новая, не знакомая для меня жизнь как бы переселила меня в рай, я доволен был приключением. Дом их показался мне дворцом, и я тихо, вежливо попросил воды обмыть наперед ноги (в дремучих лесах, куда не проникает солнце, грязь лежит почти все лето, а мы были босые, как и все путешественники). Обмыв ноги, я вошел в приемную саклю, где уже сидел Високай; тихо отдал я салям, хозяин учтиво встал, и, подавая мне подушку, просил садиться. Красотка и хозяйка были в другой половине дома.

Хазыра была дочерью родного брата, Аккирея. Этимологически иначе не могу разобрать это имя, только знаю, что *хазы* вообще значит прекрасный; говорят: *хазы-кант-у* – красавец; *хазы-юа* – красавица.

Аккирей велел принести сала и мы вымазали свои ноги. Посидели, поговорили, подали ужин; поели, ополоснули рты водой, как водится, старики выкурили по трубке, ополоснули рты опять и начали вечерние молитвы. Между тем хозяйка готовилась стлать постели (постели их обыкновенно набиваются шерстью).

Високай лег на месте Аккирея, который ушел в другую половину дома к жене; мне постлали два свернутых войлока, в изголовье две подушки и укрыться дали шерстяное тканое одеяло, подобное малороссийскому рядну. Давно не спал я так мягко, как здесь, и заснул скоро.

Давно было утро, мы все еще не жились; крик скота, прогоняемого на пастьбу, поднял меня прежде старика: я вышел посмотреть на аул при свете и увидел Хазыру, еще неубранную,

но тем более милую. Нескоро встал Високай. Позавтракали. Аккирею давно уже надо было идти на работу: он поточил косу, простился с Високаем, пожав ему руку, взял мерный кувшинчик с водой, косу на плечо и пошел трудиться. Спустя немного, Високай поел опять, сказал мне, что я буду жить здесь и покошу Аккирею два дня, за что они сошьют мне шапку; что буду работать и на других, живя у него, и могу брать чем хочу; поел и, охватывая бороду, сказал:

– Альхамду милляги! (Слава Богу!) – поблагодарил хозяйку словами «барк’Алла» (да спасет тебя Бог), пожелал ей здоровья, пожал мне руку на прощанье и, не взяв с собой ни куска, отправился в обратный путь, с улыбкой приняв от меня поклоны всем моим домашним и своему семейству.

Проводив Високая, я везде искал глазами прелестную Хазыру, но она не являлась до вечера, как и Аккирей. Все мы сидели у огня и провожали вечер болтовней; красота Хазыры поражала меня, как весенняя роза вольных гор. Наутро Аккирей дал мне старые мачи (поршни) и мы отправилась на свой пай и скосили его в день. Вечером он спрашивал, не хочу ли я к нему и что возьмет хозяин; на ответ, что он продавал было за три тюменя, сказал:

– Э, Судар! Десять тюменей катта бац (ничего не значат), лишь бы ты жил.

Я упрашивал купить.

На другой день, исполняя очередную недельную, Аккирей ушел пасти овец. Без него я закончил в два дня еще другой пай; в другие два, как шел дождь, от скуки я ходил за грушами и приносил меры по три, думая, что приведется жить у них – груша пригодится. Высушив, они мелют ее в жерновах и, разведя в воде, заедают жирное. Потом день сгребал сено, скошенное с Аккиреем. В горах, где солнце освещает мало и закатывается рано, трава как нескоро поспевает, так нескоро и сохнет. День еще косил, и хозяйка, скупая женщина, видя молчаливость, не приносила мне завтракать; когда я пришел обедать, она угостила меня одним огурцом с небольшим куском хлеба, и после говорила другим, когда те хвалили мою ревность к работе:

– Он неприхотлив!

Желая угодить мужу или слишком заботясь о хозяйстве, чтобы ловить удобные дни, она выслала меня на работу даже в недельный день, пятницу (*перескан*), когда они сами ничего не делают. Но лишь только я вышел и начал было косить, услышал крик:

– Судар! Ступай домой: сегодня работать грех! Стыдно Ине, что она послала тебя. Не бойся, иди – знай: Аккирей не скажет ничего.

Это была родная сестра Хазыры. Я послушался и оставил работу. Ина, когда я пришел, сконфузилась.

По вечерам беседовал со мной солдат. Не мог он нахвалиться своим аулом, говоря, что лучше его нет, что Дарги (все слова чеченские, приводимые здесь мной, произношу, как произносят их туземцы: *Дарги*, а не Дарго, *мюрад*, а не мюрид и прочие), хотя и резиденция, несколько не лучше. В самом деле, сколько мог заметить я сам, весь аул Гюни составлял какую-то родственную общину. Всюду какая-то тишина и согласие. Солдат сказывал, будто бы все жители между собой родные; а во всем ауле домов до ста.

Прожив в Гюни девять дней, я только работал на Аккирея, и видя, что шапка мне не шилась, не хотел больше жить здесь. К тому же редко видел Хазыру. Вечером как-то раз сидели мы только вдвоем; сидя у огня, украдкой поглядывал я на нее: она сучила шелк. Молчали мы долго, но первая заговорила она:

– Что, Судар, нравится ли тебе наш аул? Лучше Гильдагана или нет?

Я похвалил, и опять настала тишина. На девятый день вечером приехал к нам сын Високая, и с ним пришла сестра Аккирея. Она гостила у своей сестры, жены Високая. Я спрашивал, не продан ли я, что живу и работаю только на одного, и, узнав, что нет, говорил:

– Хлеб есть у меня и дома. Но я готов остаться, с тем чтоб была какая-нибудь польза моему хозяину, как человеку бедному.

Но приезжий старался уговорить меня остаться, представляя, что жить мне все равно где бы то ни было, а пища тут лучше. Переводчиком многих объяснений с моей стороны был солдат. Утром приезжий, садясь уже на лошадь, неожиданно сказал мне:

– Ну, пойдем.

Надобно было быть твердым в словах. Извиняя их коварство, я не спросил и шапки, не взял на дорогу ни куска, не закусив ничем, поднял косу на плечо и пошел вслед за верховым. Нехотя я должен был поспевать за ним и не сказал во всю дорогу с ним ни слова.

V

Недуг. – Второй поход в Гюни. – Продажа. – Разладица. – Болезнь. – Непритворная добродетель Абазата. – Покушение Абазата к побегу. – Переезд в хутор. – Вдова Тамат. – Родины. – Разлука. – Неудача.

Я пришел домой к вечеру. Все мои хозяева встретили меня с радостью: Ака заметил мою худобу, Абазат краснел и благодарил за мою гордость. Високай был обвинен.

На другой день посетила меня лихорадка (*хориши*, у линейных казаков *корча* или *корчея*). Цацу, по приказанию Абазата, сварила ежевичный лист; меня посадили над паром, покрыв на поставленные возле три жердочки одеялом, и заставляли мешать траву в котле. Потом положили меня на постель, укутав как можно больше; так я потел всю ночь.

Хотя пот – лучшее лекарство в такой болезни, однако мне вовсе не помогло это средство; через день я свалился по-прежнему. Абазат, относя болезнь мою к тоске, советовался с женой женить меня; подняв одеяло, я смеялся и стал расспрашивать Цацу о Хазыре. Видя мою привязанность, хозяин предложил, не хочу ли я быть проданным Аккирею, и через три дня обрадовал:

– Выздоровливай, завтра пойдем в Гюни!

Я дал слово – и выздоровел: лекарем был ободренный дух.

О влюбчивость! Ты зараза для молодых людей! Ты же иногда своей горячей рукой согреваешь остывшее сердце страдальца!

Утром, как оставила меня лихорадка или, лучше сказать, имя Хазыры подняло меня, позавтракав, мы отправились в путь: Абазат верхом, я впереди на своих двоих, а иногда я присаживался на лошадь. Подъезжая к аулу, Абазат послал меня вперед вызвать сестру Аккирея, как только одну из всего аула ему знакомую; сам остановился на хребте, стреножил коня и лег под бугор от ветра. Я вбежал в дом Аккирея, но ни его, ни сестры не было, кроме Ины, которая, тотчас накормив меня, велела звать Абазата в саклю. Стыдливость или обычай не показываться наглым не позволили ему исполнить просьбу хозяйки. Я тоже остался с ним. Не дождавшись, Ина вышла к нам сама, уже переодетая; но Абазат отдал ей только свое ружье, упросив взять меня, как хворого, а сам остался на своем месте до вечера, пока не пришла сестра Аккирея. Это была пожилая дева хороших правил. Она сходила за Абазатом; я принял его лошадь, расседлал и дал ей корму. Абазат продрог, но не должен был показывать этого. Вечером собрались все родные его жены взглянуть на нас. Незамужние остались надолго и после ужина. Все расселись около стен, Абазат и я сидели у огня; камин ярко освещал всех. Близкая родственница Цацу, девушка довольно хорошая, сидела всех ближе к Абазату на первом месте ряда и беспрестанно поправляла дрова; я был гостем – отдыхал. Хазыра, как моложе всех из своих подруг, сидела в конце ряда, ближе к порогу – ближе ко мне. Абазат, как магометанин, не смевший рассматривать всех их, сидел с упертым в огонь носом и только ласково отвечал на комплименты родных своей жены. Зная его сердце, я иногда потихоньку подталкивал его взглянуть на Хазыру; с минуту он сидел в прежнем положении, потом искусно отвертывался от камина и украдкой взглядывал на красавицу, и в подтверждение моего о ней мнения крепко пожимал мне руку или ногу.

Так беседовали они до полуночи, я начинал думать, но не смел сказать о том, как был уже продан, следовательно, принадлежал Аккирею. Он не входил к нам весь вечер, но видя, что беседа длится, велел дать мне отдых: тотчас все расступились – и была постлана постель. Не один уже сон видел я, когда разошлись все.

Когда я встал, Абазат давно уже сидел у камина. Вдвоем мы позавтракали и беседовали; я благодарил его, что оставляет меня у Аккирея, и спрашивал, могу ли жениться.

– Трудно, Судар, о тебе все-таки будут думать, как о пленнике; не знаю, каков к тебе будет Аккирей; может быть, кто и пойдет. А то у нас такой обычай: если ты влюбишься и она будет согласна выйти, тогда вы оба должны бежать в какой-нибудь аул, где есть родственники или знакомые; вас, разумеется, найдут, но нельзя будет разлучить. Старайся, чтоб полюбили.

Тогда он снял с шеи кожаный треугольничек, вынул оттуда бумажку, сложенную тоже треугольником, и показывал горскую тарабарщину: кружочки, арабские цифры в ряд, разные слова, которых я не мог разобрать. Этот талисман, как говорил он, писал ему приятель его, мулла Алгозур. Не сказать чье было там имя, а толковал так:

– Напиши прежде имя той, которую ты любишь, потом имя ее матери и все эти знаки и, свернув бумажку таким же образом, положи куда-нибудь, с тем чтоб твоя возлюбленная наступила на нее нечаянно.

В этот день все мы отправились стожить сено. Хазыра со своей сестрой шла с нами. Досадовал я на Абазата, когда он, сорвав сливовую ветвь, подал Хазыре.

– Разве нельзя было оборвать сливы, – говорил я, – сломишь ты, другой – и обломают все дерево.

– Э! Ничего, Судар! Тут много всего!

Разумеется, мне не ветвь дорога была, когда бы я сам готов был вырвать с корнем для нее то дерево: я боялся, чтобы впоследствии подобные ласкатели не сделали из Хазыры лисицу. Но остался доволен тем, что она приняла подарок равнодушно, как приняла бы и наша ржанушка, если б подарить ей такую ветку. Приятно было следить за ее работой: она трудилась больше всех. Невдалеке от нас работала одна женщина; видя, что мы оканчиваем свою работу рано, просила кого-нибудь из нас помочь ей; первая пошла Хазыра, а за ней следом и я.

Вечером сидели мы втроем. Казалось, к чему было смотреть на меня пристально; но, как пожилому Аккирею была подозрительна моя задумчивость, и на мой ответ, что я представляю себе будущую свою жизнь у него, он сделался молчаливее меня. Мы разошлись скоро.

Ночь пришла. Я спал крепко и долго не встал бы, если бы не разбудил меня Абазат. Недовольный беспокойством, я дерзко взглянул на него и встретил в нем большую перемену: бледный, он весь дрожал.

– Вставай скорее, – говорил он мне, – лошадь уже готова, ступай привяжи к седлу свою чую.

Я затрепетал, что он хочет взять у меня последние лохмотья; но, привязав, услышал повеление идти с ним вместе. Я вспыхнул – и было не до расспросов. Абазат отказался от завтрака, я взял кусок; мы простились почти молча.

Дорогой уже я узнал, что вышла разладица. Абазат говорил:

– Сначала ты продан был за быка и двух коров с телятами, но после жена Аккирея, чтоб оставить племя от своей коровы, не согласилась отдать одного теленка из своего приданого. Ей стало жаль одного теленка: да разве ты не стоишь этого! Я уздень – не хотел переменять своего слова.

– Напрасно! И это пригодило бы тебе, – говорил я.

– Ну! Катта-бац!

Обдумывая, что бы это значило, я винил себя за свою задумчивость: мне казалось, что Аккирей усомнился, буду ли я жить, и употребил такую хитрость, ссылаясь на жену.

Придя в Гильдаган, я слег в постель на три месяца. Пять дней как-то я был здоров; тогда помогал Високаю вязать снопы; возвращаясь домой, я встретился с беглым, который, увидев меня босым, предлагал прийти к себе покосить хоть день, чтоб достать обувь. Но Абазат не отпустил меня, обещая добыть мне поршни. В самом деле, дней через пять мне дана была на выделку кожа; но я мял ее два месяца; выпал уже снег, а я все был бос. Бывало, на скорую руку нарублю беремья и тороплюсь с ним к огню: поверчу над ним ноги и опять за дело, чтоб запастись на ночь. Когда же не успевал наготовить, хозяева трудились сами. Лихорадка становилась все сильнее, и я уже не работал ничего. Чтобы согреться, я пил кипяченую воду, всем в удивление. Они ничего не едят горячего; сварив что, разводят холодной водой, если не захотят ждать, пока остынет. Подросли цыплята, мои питомцы, – пища наша улучшилась; появилась и баранина. Желая угодить жителям аула Галэ, где Абазат похитил лошадь и куда было он переселился на зиму, так как Гильдаган в месте опасном, он как-то достал соли, обменял ее на барана и повез его в подарок, с двумя пшеничными хлебами (*беник*); но гильдаганцы не согласились принять его и не взяли подарка; баран остался у нас. Посолив, мясо его прокоптили в трубе и берегли целых три месяца. Часто Цацу украдкой в полночь поваривала мясо, но когда на приманчивый запах я вставал, будто погреться, она отговаривалась своим нездоровьем и, по обычаю, должна была разделить трапезу.

Я сох и сох, а думы больше съедали меня.

– Как вы хороните нас? – спрашивал я Абазата.

– Если хорош, то зарываем, если нет – веревку за ноги и в овраг; тебя я зарюю.

Наконец я вовсе ослаб и со слезами просил хозяев отвезти от меня записку в Грозную. Он привез от Альгозура бумаги и чернил и просил написать, что мне у него жить хорошо, чтобы этим успокоить мать. Записка была отправлена, но ответа не было. Через месяц Ака вызвался отвезти сам письмо к коменданту, уверяя, что будет непременно передано, так как у него там родная сестра. Точно, лоскуток тот был передан, но выкупа все-таки не было. Абазат и в другой раз просил помянуть о себе.

Наступал холод; платье мое было ветхо. Абазат достал себе новое платье от сестры, а лохмотья передал мне, принудив Цацу вычинить мою чую. Она, ретивая к делу, насучила ниток и начала, с моего позволения, обрезать полы, чтобы достать заплат; но вошедший Абазат толчком ей в спину заставил по-прежнему наставить, говоря:

– Хака! Разве он не такой же мужчина! А народ будет смеяться надо мной!..

Горцы не думают, что из лоскутов их чую, лишь бы имела свой вид. Цацу, плача, стала просто зашивать дыры; Абазат вышел, я – за ним и упросил его сделать мне тришкин кафтан. Но он мало прибавил тепла, так как не было главного – рубашки.

* * *

Грустно было Абазату, что потерпел он один и лишился многого: ему хотелось отыскать своего товарища и принудить его уплатить себе половину того, что сам отдал истцам. Еще до приговора все родственники советовали ему скрыться куда-нибудь, так же как сделал его соучастник; но Абазат, поддерживая славу своего рода, с презрением отверг такие советы.

– Какой же я буду уздень и как будут смотреть на меня люди, когда я убоюсь наказания! Если я виновен, то пусть меня накажут; и если одного, то будет стыднее моему товарищу! – говорил он.

Действительно, он так и поступил, что видели мы, когда он спокойно шел на суд, ожидая смертного приговора.

Не отыскав товарища и обеднев совершенно, он говорил мне:

– Послушай, Судар, ты знаешь дела мои, жена моя не хозяйка, вот каково товарищество! Я хочу перейти к русским, и вместе с тобой. Даешь ли мне слово, что ты от себя попросишь

генерала наделить меня за то, что ты не терпел от меня ничего, и будет ли мне место где жить? Скажи, если б ты был награжден за свои действия на хребте Кожильги и за теперешний плен чином офицера, принял ли бы ты меня весело и познакомил ли бы со своими товарищами, если б я когда встретился с тобой?

– Сверх того, что заплатит тебе генерал за меня, я обещаю от себя еще три тюменя. А если когда встречу с тобой, хотя не буду офицером, то приму, как друга, и найду, чем угостить тебя.

– Откуда возьмешь ты денег дать мне?

– Три тюменя у нас невелики: не могу больше, а это как-нибудь достану.

– Ну, поклянись, Судар, вот над этим талисманом, что все будет так, как ты обещаешь, и что генерал обласкает меня.

Я дал клятву.

– Поклянись же и ты, – говорил я, – что решаешься идти.

Поклялся и он. Но время шло, как угрюмый старик идет молча с костылем своим и не поведает никому, что несет он от мира земного к иному миру!.. Так подождал я еще и, вздохнув, повернулся на другой бок к таинственной стене!..

* * *

Из аулов, в местах опасных из-за нас, на зиму, как я сказал, горцы переезжают в лесные аулы или живут по лесам в землянках хуторами. Иногда имеют в таких местах теплые сакли, глиняные или деревянные. Это их мызы. Если не достанет сена для скота, то покупают его в горах и отгоняют туда скот на всю зиму, а для ухода за ним отправляют мальчика или девочку. Везти сено из гор нельзя, потому что нет дорог, кроме тропинок. Иногда в семи дворах, как говорят у нас, у них – в семи саклях – один топор, но делятся всем, и отказать в чем-нибудь грешно и стыдно. Так иной, не имея лошади, бывает в набеге, пригоняет скот; не имея волов, пашет; не имея косы, косит. А всё в надежде осенью пригнать скот запасается сеном. В нашем ауле остались беднейшие: они ждали, пока переедут другие, чтобы взять у них волов и арбы. Так, 12 декабря, мы перебрались на новое жилье, уложив весь багаж на две арбы (я хорошо помнил все дни, означая каждое утро над дверью углем. Часто горцы, забывая дни, спрашивали меня, когда будет перескан. Тогда нельзя работать, не должно выгребать золы и прочее. Предрассудков у них премножество, как свойственно невежественному народу: в Новый год пересыпают хлеб из чашки в чашку, прося, чтобы так точно продолжалось всегда, причем говорят поздравления и изъявляют желание всего лучшего. Также яичную скорлупу никаким образом нельзя класть в огонь: будто не станут нестись куры или вовсе переведутся; кости же иногда не выбрасываются, а сжигаются, будто это приятно Богу, и пр., и пр. Жена покойного Мики нередко, проверяя себя, спрашивала меня, сколько прошло с той поры, как было побоище на Кожильги. Как от построения Грозной в 1818 году, так от 2 июня 1842 года горцы ввели эру.

На дороге достали мне старые поршни. Снегу было на четверть; было морозно, арбы скрипели; я шел позади них, укутываясь в свое полосатое одеяло, и не выступал уже так мерно, как выступал прежде; не выпрямился бы и тогда, если б встретилась даже Хазыра. Ака еще прежде говорил мне:

– Что, если б теперь тебя увидела мать твоя?..

– Заплакала бы! – отвечал я.

Мы переехали в хутор, версты за четыре от Гильдагана, к родственнице Абазата, вдове Тамат, которая уступила нам землянку, куда было загоняла скотину и где хранилось ее лишнее имущество. В одной половинке этой землянки недель пять жил с нами теленок, пока не устроили для него особый куток. Я имел равное с ним ложе, в ногах своих хозяев: спать у дверей было холодно. Хотя Абазат и стыдился, что я буду лежать в углу, но я без околичностей занял

теплое место. После прихода, погревшись, я упал в объятия лихорадки. На ночь Абазат сам принес дров из лесу; на другой же день я старался о тепле. Обернув ноги в суконные лоскутья, я пускался в лес и наскоро набирал сушняку. Кожа, данная мне на обувь, вскоре была обменена на готовые поршни: тогда я смело оставался в лесу надолго, выбирал любое деревцо, колот его и носил домой слегами. Так два дня я работал, а третий посвящал болезни.

Мне предлагали арбу, чтобы навозить дров; но, чтобы не сидеть по-пустому и развлекать себя на просторе, я отказался.

Сначала многие в хуторе смотрели на меня с негодованием, что я вольничая; но после уверились, как и Абазат, что не уйду; когда же от холода я долго не брил своей головы, все смотрели подозрительно, говоря прямо, что с умыслу запустил голову – хочу к своим; я должен был бриться.

Тамат, как сама ретивая хозяйка, видя, что никто на хуторе не имел в запасе столько дров, как я, и в особенности когда я сплел курятник для остальных своих кур, по образцу русскому, пожелала иметь меня у себя. Склоняя к себе, она говорила:

– Если б я тебя купила, пошла бы сама к Шамилю и выпросила бы у него позволение женить тебя хоть на какой-нибудь сиротке из сюлинцев. Лишь бы ты дал мне слово жить у меня, то не пожалела бы дать за тебя и двадцати тюменей.

Абазат по просьбе моей соглашался продать; но Тамат не давала более одной кольчуги, оставшейся после ее мужа, оцененной в двадцать целковых, говоря:

– Теперь, быть может, ты и не хочешь уйти; но поживешь год, два – передумаешь. А два тюменя куда уж ни шло!

Надеясь все еще на выкуп, Абазат не хотел отдать за такую цену и на просьбу мою продать отвечал:

– Мне стыдно навязываться самому; если тебе хочется к ней, то упрашивай ее сам дать, сколько я прошу.

* * *

Рождество в Новый год мы встретили, как дома. Часто солдат приходил ко мне голодный, и я кормил его, когда никого не было дома; иногда я утаивал яйца из своего курятника, и мы пекли их в лесу. В январе куры уже начинают нестись; за ними ходил я, когда Цацу должна была родить; носил также тогда и воду. Когда я вышел с кувшином в первый раз, все на меня смотрели с удивлением и говорили:

– Разве твоя Цацу не могла кликнуть кого-нибудь из нас?

Так иногда, без хозяев, соседка делала мне сыскиль. Нередко хозяйка солдата, не надеясь на своего слугу, призывала меня к ребенку, когда самой было недосуг. Солдат у них был в пренебрежении. Меня же принимали иначе, и никогда, если я заходил к кому посидеть, не выпускали не накормив. Так однажды хозяевами солдата я был оставлен на вечер и собственно для меня в котел был брошен кусок мяса. Но долго оно варилось; было поздно; пришел за мной Абазат; стоя на крыше землянки, он крикнул меня, и я простился.

– Угощали ли они тебя чем? – говорил он. – Я достал мяса и пришел за тобой; станем ужинать вместе.

Так любил он меня! Никогда не хотел съесть чего-нибудь один: если, бывало, в лапше сварят небольшой кусок курдючного сала, то и тот он делил со мной пополам, не думая о жене; я же свою часть делил с Цацу; она краснела; Абазат не ревновал.

Солдат беспрестанно уговаривал меня к побегу, я не соглашался:

– Станем пока высматривать дорогу, – говорил, я, – а решусь разве тогда, когда Абазат мне изменит.

Вот однажды он зазвал меня версты за две, пойдем да пойдем, говорил, и верно, прежде обдумал улепетнуть. Но почему бы не уйти одному: нет, если мы тонем, то ухватываемся за другого. Он ходил, где хотел; мне же нельзя было пренебрегать доверием, я всегда был осторожен от подозрения, чтобы не набрякать на себя гаечных кандалов в цепи и лишиться свободы, потерять и последнюю утеху рассеять грусть хоть на малой воле. Мы шли и шли, все дальше и дальше, к счастью, издали я увидел чеченца и остановился, товарищ звал меня в сторону спрятаться; но, зная зоркость горцев, я не согласился и говорил:

– Если увидел его я, то он давным-давно рассмотрел наши костюмы. Я покрыт был мешком, солдат – в шинели. Встретившийся был Високай. Станным показалось мне его появление: я знал, что его аул в противоположной стороне. Подходя к нам, Високай кликнул меня и спросил, что мы тут делаем.

– Осматриваем дрова, чтобы отсюда можно было возить на санях.

Старик не сказал ни слова и звал меня с собой, показать ему наше жилище. Я удивился: как старику не знать дороги! И сказал солдату:

– Ну, брат, попались мы!

Солдат ругал меня, но шел с нами же вместе. Не доходя немного до хутора, я показал старику видневшуюся на тычинах кукурузу, говоря, что там наш хутор, сам же решался вовсе наутёк; но Високай отговорился, что не знает нашей землянки. Я пошел, повеся нос, солдат подался в сторону, простясь со мной. В землянке была одна Цацу, я не пропустил из их разговора ни одного слова. Видя, что дочь его спрашивает меня о моей отлучке, он не сказал обо мне ни слова, догадавшись, что я хожу свободно, а сомнением своим боялся меня огорчить. Скоро он с нами простился. С тех пор полно осматривать дороги!

Преступным чужая осторожность кажется боязливостью; а в таких-то смельчаках и больше трусости: ему ли, с низкой душой, перенести что твердо! Посмотрите на них под пулями! В ком неуместная дерзость, там и низкий трепет. Но все еще я не хотел бросать своего товарища: все-таки он человек, к тому же и свой.

* * *

Абазат жил дома мало, отыскивая своего товарища, с которым похитил лошадь. Отыскав, он принудил его уплатить себе половину того, что привелось самому отдать истцам из пожитков. Он взял у него два ружья. Сначала Цацу не оставалась со мной на ночь, всегда приглашала кого-либо из мужчин, сама уходила к соседям. Так две ночи сберегал меня один джигит, и когда я спал крепко, он беспрестанно или звал меня, тут ли я, или ощупывал, и оба раза был мной за то обруган; тогда на третью ночь Цацу, сделав огромный сыскиль и наварив любимого моего чорпу, чтобы умиловить меня, поставила все это передо мной, просила кушать на здоровье, сколько хочю; самой было не до еды: от приглашения разделить трапезу она отказалась. Мужчины, по обыкновению, едят особо; женщина не осмелится сесть вместе, без приглашения. Наевшись досыта, я поблагодарил. Цацу все время дрожала, наконец с плаксивой ужимкой стала говорить:

– Дельга! Де линдуга! Ал, Судар (Бога ради, скажи, Судар): могу ли я спать тут, вместе с тобой, безопасно?

Я отвечал:

– Не бойся, спи спокойно! Если б я хотел уйти, то из лесу ушел бы скорей; а в твоей смерти мне пользы нет! Если захочу уйти, то ты не услышишь и так; да не укараулил бы меня и тот, кого ты призывала.

Она поблагодарила и осталась. С этой поры, когда не было дома Абазата, мы ночевали вдвоем.

Так коротал я дни свои, не находя ничего похожего на родное. В глухую полночь, когда все спало, пенье петухов, этих всеобщих мирителей времени, относило меня в русскую избу, напоминало обо всей родине. Для того нарочно нередко я сидел перед огнем своим далеко за полночь.

* * *

Настала пора Цацу разрешиться от бремени. Абазат был дома, вдруг ночью меня будят и велят идти к Тамат; Абазат ушел к соседу. Я развел огонь и стал греться; часа через три пришла Тамат и объяснила мне причину моего выхода; я просидел у нее до утра, там и позавтракал. Цацу освободилась, но войти к ней нельзя было до полудня. Вечером я сам сварил себе галушек и лег; Цацу ужин принесла Тамат, но хозяйка не хотела не поделиться со мной.

Абазата уже не было дома, от стыда он ушел еще утром и не являлся пять дней; жена и сын были оставлены на мое попечение, я принял их на себя и без его просьбы. Он простился со мной, не говоря ни слова, не заглянул и в саклю к жене. Ему сын – баран! Как говорил он мне после.

На хуторе нам все были чужие и вовсе прежде не знакомые моей хозяйке: кого же Цацу могла просить о пособии себе! А как тяжело обременять собой других! В ком нет искры сострадания, тот бережет свою доброту и не делится с неизвестными ему. Кто умеет отблагодарить нас в ласковых словах, перед тем мы и доброту свою считаем за ничто; но одно слово «спасибо», слово простое, но сильное, не всегда отзывается в сердце другого. «Спасибо тебе, мой кормилец! Мой родимый!» – слова не для всякого родные, но кто чисто русский, того они трогают. Тяжка чужая сторона, но как отрадны и минутные ласки чужих людей! Не там ли пробуждаются прежние чувства, заброшенные нами с возрастом! Не там ли больше мы научаемся любить и родных своих! Там мы уверяемся в своих друзьях; там мы всех разбираем анатомически!.. Но горе вам, если мы, забыв эти чувства на чужбине, воротимся на родину ни с чем!..

Я понимал чувства Цацу между чужими и, помня свое, не требовал мзды, видя ее внутреннюю радость. Я отдал себя на служение, приличное лишь девушке. Перестлать Цацу постель, укрыть ее, вот тут и вот тут дельга, делиндуга! Покачать ребенка – грешно мне было бы отказаться. Тогда не раз она уверяла, что я теперь нужен, что Абазат редко бывает дома; но я не таял, зная горцев хорошо, а все-таки трудился без стыда около слабой роженицы. Цацу была неретива и прежде, а тут, при моей заботе, почему было не понежиться! Иногда она не поднималась даже и на плач ребенка: быть может, надеялась на Судара, и Судар тот не считал ребенка за барана, как отец его.

Прошло пять дней, Цацу все нежилась и нежилась, и я по-прежнему сушил пеленки. Видя во мне раба безмолвного, она стала и поохивать, сердясь, что я или не так ее одел, или не умею убаюкивать. Ответом моим было молчание, всегдашний мой щит. Но прочитать этот иероглиф умел не всякий. Вот как Цацу умела читать его. На шестой день, вечером, люлька, которую я же сделал, поломалась; Цацу заставила сделать ее по-прежнему: я также сколотил ее, как старую, но не знал, как привязать веревочки и палочки, не понимая технических названий; Цацу сердилась явно, не веря моему незнанию, и принялась опрашивать сама. Но учительница не умела привести в лад качалку и, злясь, беспрестанно плевала. Я не вытерпел, ушел к Тамат и стал говорить ей:

– Ты знаешь, Тамат, как я жил до сих пор; знаешь, как ходил за ребенком: не стыдился того, что пристойно только девочке!.. Я не хочу у них жить, пусть продадут кому хотят; не то пусть ее муж лучше убьет меня, чем быть таким рабом!

Выслушав хладнокровно, Тамат отвечала:

– Погоди, Судар, не сердись, она еще больна; ты знаешь, что у вас нет никого, кроме тебя.

Тамат пошла сама делать зыбку, пеняла Цацу за такое обращение, но, как свое, все-таки оправдывала ее:

– Ей думается, что ты понимаешь, но не хочешь делать; потерпи немного, она скоро выздоровеет.

Посидев немного, я ушел домой и лег спать. Ребенок не виноват – ночью я качал его по-прежнему.

Наутро пришел Абазат, я качал его сына; подавая мне руку, он спрашивал:

– Что сын мой, Судар?

– Нет, не твой он сын! – говорил я, смеясь.

– Как не мой, Судар?

– Ты видишь, что качаю его я, а не ты.

– Ну, погоди, Судар: теперь некому, я приведу девочку, сестру Цацу, ты больше никогда не возьмешь его в руки.

Посидев немного, он пошел к Тамат, а я в лес, чтобы дать им простор поговорить обо мне.

Я воротился к вечеру. Абазат сидел у огня; подумав немного, он стал говорить:

– Для чего ты, Судар, жаловался другим? Это нехорошо! Дождался бы меня.

– Я не вытерпел, Абазат, когда Цацу меня ругала.

Цацу начала божиться (вал-лаги, билляги, дейер-куранур!), что не бранила. Абазат молчал.

– Я заметил, Судар, – говорил он, уже смеясь, – что ты сердился, когда я давеча спрашивал тебя о сыне.

Я улыбался.

– Ну, потерпи: скоро придет сестра, я звал ее.

Цацу, по приходе мужа, сама убрала свою постель и лежала на одном только камышовом ковре; вечером, видя, что мы помирились, умильно просила меня снять с полки постель и постлать им, показывая тем все еще свою слабость и что точно так же ласково обращалась со мной и прежде. Но Абазат грозно крикнул на нее, заставляя встать саму. Плохо еще хитрила Цацу, должна была встать.

Утром Абазат, собираясь в путь, ни к селу ни к городу начал говорить мне, что никогда ни за что не продаст меня, как разве только на мою сторону, к русским; я слушал и подозревал. По уходе его я пошел к солдату и заранее попрощался с ним, говоря:

– Я знаю, что продаст теперь, и продаст в горы; а мне хочется пожить там, узнать обо всем хорошенько: авось, Бог даст, ворочусь к своим – все пригодится.

Предположения мои сбылись.

Меня продали. Тяжко быть на этом месте! Заставить молчать в себе ум и чувство, быть деревяшкой!..

Ожидая перемены в своей жизни, я в последний раз беседовал со своим товарищем-солдатом в его сакле. Перед обедом слышу – кричат:

– Судар! Ва Судар!

Они думали, что я в лесу. Мы оба вышли посмотреть – перед нами стояли два гайдука. Я засмеялся и подтвердил товарищу свои предположения.

– Который из вас мой хозяин?

Купивший отозвался. Я простился с солдатом и пошел в свою землянку. Цацу ласково говорила:

– Ну, Судар, ты пойдешь к Аккирею; сними же с себя мешок.

«Ври, ври, моя голубушка; не понимаю я ничего!» – подумал я про себя. Вынул деревянную шпильку, которая держала на мне мешок, как всегдашний мой зимний покров, и скинул с себя эту рыцарскую тогу. Свернув его, положил вежливо, готовый снять с себя до нитки,

скорбно простился с хозяйкой и вышел к новому хозяину, который ждал меня перед землянкой.

Змеи кипели в груди моей. Мне хотелось прижаться к чьему-нибудь сердцу.

Родных никого нет, русских тоже, кроме виновного солдата! А в это время горько вспомнить о своих и вместе отрадно, когда представишь свои обычаи при прощаньях! Я велел пришедшим подождать и побежал опять к товарищу; но хозяин, боясь потерять меня из виду, шел за мной следом. Я простился еще; мы оба плакали... Все в хуторе стояли тогда на своих землянках и любовались нашей приятельской разлукой.

Со слезами на глазах я оставил своего собеседника и пошел впереди своих проводников. Это было в начале февраля; день был холодный; я шел скоро, чтобы согреться, не говоря с провожатыми ни слова. Хозяин мой снял с себя бурку и башлык и начал укутывать меня, как мать маленького ребенка. Холодно, досадно и вместе грустно было мне тогда: я стоял перед ним, как кукла. Я сердился на Абазата и его вероломство, и вместе прощал и ему, как дикарю, и был покорен своей судьбе.

Абазат сторговался заочно и, чувствуя свою вину, не показывал глаз.

Мы шли молча; хозяин мой первый нарушил молчание: он стал спрашивать по-русски, что я умею делать.

– Увидишь, когда я буду жить у тебя, – отвечал ему я сухо.

– «Увидишь!» Значит, ты не хочешь жить? Ну, Судар, если уйдешь и поймает – голову долой!

«Поймаешь либо нет, – думал я, – а убьешь – мне не страшно умереть».

Новый хозяин, видя неразговорчивость мою, опередил меня и пошел скоро, повесив голову; другой гайдук шел позади меня: я был под караулом. Оба они несли ружья под мышками, опустив стволы к земле; чехлы с ружьем висели за спинами; я шел в бурке, как в богатой шубе с бобровым воротником, а из-под башлыка примечал дорогу, оглядываясь нередко назад, как бы прощаясь со своим хутором.

Нам встретились трое чеченцев, знакомые моему хозяину. Мы остановились; хозяин показывал им свою покупку; я злился, когда они оглядывали меня с головы до ног, и отвернулся в сторону, давая тем свободу делать им свои замечания обо мне. Не думали они, что я хорошо понимал их, и говорили вслух, даже божились, что я уйду непременно. Разменявшись приветствиями, мы пошли дальше. Видно было, что купивший недоволен был своей покупкой: все трое мы шли до аула молча.

Далеко было за полдень, когда мы пришли в аул, где должны были переночевать. Старик, знакомый моему хозяину, тотчас накормил нас; в благодарность за хлеб-соль мне велено было рубить ему дров. Я рубил до поту.

Невдалеке на улице стояла толпа мужчин, а мой Абазат красовался перед ними на сером коне, которого взял было за меня. Я не приветствовал его издали; вдруг Абазат меня кликнул, вся толпа оборотилась; я бросил рубить, надел бурку, брошенную тогда на время работы, обернулся башлыком, не торопясь, подошел к толпе и никого не приветствовал. Абазат сошел с лошади и отдал ее прежнему владельцу; велел мне снять бурку и башлык и идти за собой.

Как я продан был за глаза, то, вероятно, в этом ауле торг должен был кончиться, а Абазат расстался с конем. Он шел передо мной молча, торопя меня, где и бежал; но я шел мерно, показывая тем на свою усталость после работы и снег; на бегу он сбросил с себя полушубок, я также молча поднял его и, надев, уже не отставал.

Абазат торопился отдать плеть, взятую им на время в недалеком ауле.

Скоро мы дошли до аула Галэ, где зимой жили его братья, Янда и Яндар-бей. Меня приняли, как гостя, оправдывали Абазата, который и не показался во всю ночь, просидев в другой сакле.

* * *

О неудаче Абазата тотчас же разнеслось по кутку нашему, и солдат, товарищ мой, ждал меня нетерпеливо. Поутру Янда проводил меня к Високаю; мать, сестры и брат Цацу собрались навестить больную и взглянуть на новорожденного. Все мы поехали на санях.

Цацу обрадовалась родным, со мной поздоровалась сухо. Я ушел к солдату; встреча была радостная.

Утром пришел Абазат в саклю вдовы. Я рубил дрова. Поздоровавшись с хозяйкой, он вышел и, прислонясь к стене, стал говорить:

– Ты, Судар, сердисься на меня, что не хочешь и здороваться?

– Разумеется, сержусь, – говорил я, – ты не уздень – не верен своему слову!

Сознаваясь внутренне в своей вине, он не обиделся от такого ответа, лишь оправдывался, как и его братья; я молчал и продолжал рубить; он отошел прочь.

VI

Поход в горы. – Встреча с Акой. – Покупка. – Казаки. – Весна в Гильдагане. – Приезд Хаухара. – Пленница-казачка. – Бей-Булат. – Интересный торг. – Поздравления.

Прошло две недели. Абазат предлагал мне идти в горы, в работники к эндийцам, как я просился.

– С тем только пойду, – говорил я, – если пришлют выкуп, ты должен меня забрать.

Он обещал. Поход отложен был на день. Абазат сходил между тем за Яндой, и мы отправились втроем; к ночи пришли в Галэ. Весь вечер я продумал, перевернул весь свет и досадовал, что согласился. Абазат спрашивал о моей задумчивости.

Я отвечал:

– Для чего ты скрываешь? Ведь ты ведешь меня продавать. Разве я уйду отсюда?

Долго он не признавался, потом стал извиняться, что ни у него, ни у жены, ни у меня самого нет ничего и работы тоже. Я просил продать порядочному человеку.

На мое счастье, утром приехал Ака. Обрадовавшись, я вышел ему навстречу.

– Марши-ауляга, Судар! А-хунду этци? (Выражение *марши-ауляга* слово в слово значит *шествуй благополучно. А-хунду этци?* – Для чего ты здесь? *А-хунду* – также приветственное слово, то есть *ну что?* или *хун-дош?* – *что слово?* То есть *что скажешь? Что нового?*)

– Абазат ведет меня в горы, – отвечал я.

– Яц, яц! – вскричал Ака. – Ма-ойля! Ма-ойля! (Нет, нет! Не думай! Не думай!)

Я не верил ничему.

День прошел в переговорах. Наутро Абазат, отозвав меня в другую землянку и заставляя клясться над своим талисманом, говорил:

– Ты знаешь, что я тебя любил; сколько раз за тебя доставалось от меня жене моей! Грешно будет тебе не дать мне слова. Мне жаль продать тебя в горы; я отдаю тебя Аке, несмотря, что в горах взял бы дороже. Ака берет с условием: он дает мне лошадь, а я в придачу к тебе – свое ружье; если ты проживешь до осени, то я пользуюсь лошадью; если же уйдешь, то лошадь я должен возвратить и ружье мое пропадет. Поживи хоть до осени, а там как хочешь. Я дал слово.

Условясь, мы вошли к Аке. Он встал и, взяв Абазата за руку, начал при свидетелях:

– Вот этот *газак* (*газак* – казак или русский вообще. Это название еще довольно ласковое, потому что они казаков любят, несмотря, что те не милуют их. Они говорят: «Газак дяш-гит! Люля возур-вац! Нохчи-сенна! Ваша», то есть: «Казак молодец! Трубку не курит! Словно

нохчиец, брат нам». *Ваши* собственно значит *двоюродный брат*. Правда, казаки не уступают горцам в джигитстве), этот *тон* (ружье) беру я, а отдаю лошадь...

Старик разнял руки, я бросился к Аке на шею, поцеловал Абазата, который тотчас же ушел на хутор к Аке за лошадью; все стали поздравлять меня и Аку. Я был весел, Ака – вне себя.

Ака приезжал просушивать кукурузу, сложенную на зиму в лесу, вблизи Гильдагана. Из большого плетневого ларя, стоявшего на тычинках, мы в один день перевешали пучки на деревья; на другой день простились с Яндой совсем, заехали к Дадак, которую я не видел полгода; муж ее, Моргуст, повеселил нас своей скрипкой.

Их скрипка состоит из чашки с квадратным вырезом на дне, обтянутой сырой кожей, с двумя круглыми прорезами; к ней приделан гриф, а вместо струн три шелковинки; смычок из конских волос. У многих есть балалайки (*пандур*).

* * *

Дадак пособила нам сложить пучки опять в ларь, и мы отправились домой. Дорогой Ака колесил по разным аулам, показывая меня.

Подъезжали к хутору, на скрип арбы выбежали встречать нас дети Аки: Худу, Чергес и Пуллу (эту девочку они назвали в честь генерала Пулло). Все они радостно меня приветствовали. С Худу я обменялся улыбкой. Чергеса и Пуллу поцеловал. Ака стал говорить своей Туархан:

– Ну, метышка (метышкой называются уже пожилые; жена собственно – *стэ*, муж – *ир*. Быть может, от *ир* – ум, говорят *ир-стаг* – умный человек. Молодые же друг друга не называют никак. Часто, подшучивая, я заставлял Цацу произнести имя мужа, как будто не понимал, к кому она обращала речь. При посторонних молодая ни за что не станет говорить; при гостях-мужчинах и не покажется. Тогда услуживает хозяин, и если гости с лошадьми, то караулит их на пастбище или у себя, задав им корму, жена уже барыня – отдыхает), и ты, Худу, почините все платье Судара, вымойте мою рубашку; я отдам ее ему, а себе куплю другую.

Все было исполнено беспрекословно: Худу перемыла все, Туархан перечинила; поршни починил я сам, а для тепла Ака уступил мне свой полушубок.

Лихорадка меня оставила, я стал поправляться – и от перемены в жизни, и от пищи: на мое счастье, у них отелилась корова, а молоко я любил и прежде.

* * *

Наступала весна, настал март, мальчики, по обыкновению, стали ходить по домам и приветствовать жителей с веселым временем. Двое или трое, раскатав свиток, нараспев читают содержание его. Точно такие же поздравления бывают и по уборке хлеба или по окончании покоса. Поздравителям, разумеется, всякий, по силе, дает что-нибудь.

Мюрады также пошли по аулам отыскивать женихов и невест. Не знаю, что думал Ака, он говорил:

– Как думаешь, Судар: рано еще выдавать Худу? Ведь надо работать, а тебе одному будет тяжело?

Я подтвердил, что рано. На другой же день, по приходе мюрадов, чуть свет мы выехали в Гильдаган, куда не переезжал еще никто. Три недели мы жили одни. Худу была необыкновенно ко мне ласкова. Два платка, подаренные ей женихом, и три целковых задаточных Ака отвез назад; и когда сват приехал к нему в другой раз, он отказал ему наотрез, говоря, что Худу еще молода.

Худу была уже просватана года два. Случается, что отцы еще в младенчестве своих детей дают друг другу обещание породниться, и дети свыкаются заранее.

На мои «почему, для чего отказано?» – Ака отвечал, что жених ему не нравится и что мне тяжело будет работать одному.

Ожидая еще снег, я запасся дровами, складывая их в поленницу, по которой часто узнавали меня, русского, мимо проходившие беглые. В самом деле, выпал снег, подножный корм был занесен, нужно было ехать за сеном в лес; на этот раз Ака пожалел меня, отправился один, только взял с меня полушубок, не имея у себя другого. Наконец стали одни за другими съезжаться.

* * *

Вздумалось Аке наготовить дров. Накануне Благовещения мы отправились в лес, привезли воз, да два раза ездил я один. Не поев еще в этот день ничего, я утомился; сложив дрова, не пошел в саклю, а сел на сделанную мной лавочку, перед дверью; Ака извинился, что я голоден, и торопил Туархан приготовить мне сыскиль. Накормив, все они вышли во двор беседовать на солнце; я остался в сакле, усталый и грустный, лег на пол перед огнем и заснул крепко. Солнце начинало садиться. Ака, боясь лихорадки, разбудил меня, я встал и стал горевать на лавочке; тоска непонятная одолела меня. В ауле было уже семей двадцать; у нашей сакли толпилась куча, я сидел один, вдруг подъехал верховой, сердце мое вздрогнуло, я полагал, не присланный ли за мной из Грозной, но ошибся; когда толпа обернулась ко мне, показывая на меня приезжому, я не вытерпел, подошел к ним, поздоровался, и тут начался торг. Я спросил, где живет покупатель; все закричали, что вблизи Грозной, показывая тем, что я легко могу уйти, если захочу. Меня удивила такая откровенность, тем более что приезжий не был знаком никому, следовательно, можно было говорить двусмысленно: намекая мне о возможности наутек и показывая ему, что они готовы услужить продажей и потому прельщаются близостью. Я предполагал, что тут что-нибудь да значит, и знал, что без согласия моего Ака меня не продаст, поклявшись при покупке, что если пришлют выкуп, отдать тотчас же, если же нет, то держать у себя, пока я сам не захочу быть проданным. Ему можно было ждать выкупа; он не так нуждался, как Абазат. На выкуп надежда была плохая, когда прошло уже пять месяцев, с тех пор как я писал. Я стоял в раздумье. Покупатель говорил, что у него есть пленная казачка, девушка, которую, если он меня купит, отдаст за меня замуж. Опершись на ружье, Ака опустил голову, отдаваясь совершенно на мою волю. Не дав мне выговорить и слова, приезжий отвечал:

– Как не хотеть жениться!

Сомневаясь в твердости Аки, потому что шапка серебра меняет все, я, осмотрев всадника, заключил, что он добрый человек, и решился ударить по рукам... Настоящий торг был отложен до завтра. Утром Ака должен был привести меня на хутор покупателя, который находился верстах в пятнадцати.

Вся ночь у меня прошла в мечтах. Мы встали чуть свет. Чтобы продать товар лицом, Ака натуго подпоясал меня ремнем, пообтянул полы полушубка, подправил рубашку, осмотрел обувь, поразбил косматую шапку и просил быть веселей.

Простясь со всеми, мы пошли скоро. Снег таял, Холхолой бушевал. По жердям через реку Ака пробежал, я следом было за ним, но с непривычки голова закружилась, и на самой середине я упал на руки. Ака хотел было воротиться провести меня, но мое самолюбие удержало его; отдохнув, я сам дополз до берега.

В первом встречном ауле Ака спросил о Хаухаре (так звали покупателя), точно ли он имеет пленницу-девушку: было подтверждено. Но придя в настоящий хутор, оба мы должны были разочароваться: пленницей была пожилая женщина. Нам показали на нее, она стояла на крыше землянки. Подойдя ближе, стыдно было взглянуть на нее: она была в белой рубашке,

на остриженной голове белый платок, казалась дурочкой. Когда вошли мы в дом, ее кликнули, чтобы поговорить с русским. Из разговоров с ней я узнал, что она круглая сирота на чужой стороне. Веселые горцы не знают тоски. Ей говорили:

– Ну, Мари, вот твой жених.

Казачка заплакала, я старался успокоить, она говорила:

– У меня есть дочь, полно, не старше ли тебя! Куда мне замуж и пара ли ты!

Я засмеялся. Обдумав, пленница переменяла тон:

– Вы, служивый, верно, сами сюда пришли? Давно ли здесь живете?

Я отвечал, что я пленный.

– Не может быть: так пленные не ходят, не одевают их так, да вы такие веселые!

Хаухар еще не возвращался; из Гильдагана он проехал в другие аулы, желая найти солдата подешевле. Родной его брат, Бей-Булат, старожурговец, вызвал меня на крышу землянки и стал говорить:

– У меня есть еще брат, кроме Хаухара, Тоу-Булат, который содержится теперь в остроге; чтобы освободить его, надо привести пленного, вот я и пришел сюда за этим. Хочешь ли ты к своим? Теперь всем полкам дан отдых и всем вышли награды, кто только был в Ичкерийском лесу.

Недоверчивы горцы в высшей степени, недоверчивости и я научился у них: я думал, что он выпытывает, как я думаю о родине, можно ли надеяться, чтоб прожил в этом месте, близком к русским.

Я отвечал:

– Разумеется, хотел бы и к своим, но почему не жить и здесь, если брат твой человек добрый.

– Нет, – говорил он, – ты все-таки не веришь; нам хочется купить тебя подешевле, вот почему мы и говорим твоему хозяину, что покупаем в работники; если он узнает, что русским, то или не продаст или запросит дорого. Ничего не говори своему хозяину.

Я стал верить.

Приехал Хаухар, начался торг. Видя неуступчивость покупателей, Ака стал ломаться: ему давали и ружья, и кукурузу; он говорил, что у него три ружья, а кукурузы будет на три года. Разумеется, он лгал, ему хотелось взять что получше. Замечая, что Хаухар беспрестанно советуется с братом, я стал уверяться, что точно покупает Бей-Булат, а не он, и стал смело говорить Аке:

– Что же ты не отдаешь? Ведь тебе дают хорошо?

Ему давали и лошадь, но он ломался больше, говоря, что лучше поведет меня в горы, возьмет там не столько; если же не продаст там, то надеется, я буду хорошим работником, научусь и мастерству... Досадно было мне, я советовал Аке отдать меня, показывая тем, что я больше не хочу у него жить. Разгоряченный Ака повесил голову и, подумав, ударил по рукам.

Так я отдан был за кобылицу с жеребенком, оцененную в двадцать рублей серебром, да впридачу Хаухар обязался еще уплатить восемь целковых.

Взяв лошадь, Ака извинился, что не может оставить на мне полушубка, что у него самого только один; я тотчас снял, мне принесли другой. Ака пожелал мне доброго житья, а я послал с ним поклоны.

Проводив Аку, все стали меня поздравлять, что я скоро увижу мать свою. Бей-Булат говорил:

– Почем знать? Может быть, теперь тебя и отдадут матери за твой плен!

Двадцать пятое марта было доброй вестью для меня.

Тут я написал и письмо казачке, и Хаухар обещал отвезти его сам.

* * *

По привычке видеть между горцами обманы я не радовался наружно. Хаухару казалось странным мое хладнокровие, он говорил:

– Скажи, если не хочешь к своим, я оставлю, найду другого солдата; если хочешь, женю; Мари променяю на девушку-казачку, вот недалеко от нас?..

Рано разбудил меня Бей-Булат, говоря, что идти далеко. Мне дали небольшие *санвы*, положили туда индюшиных яиц, прося Бей-Булата взамен их принести им куриных. Поручено было ношу беречь. Казачка просила передать о себе в свою станицу Стодеревскую. Горько зарыдала она, когда я перекинул сумочки через плечо.

Благословясь от всей души, я скорым шагом пошел к своим.

Беляев С. И. Дневник русского солдата, бывшего десять месяцев в плену у чеченцев // Библиотека для чтения. СПб., 1848. Т. 88. Ст. 1. С. 71–102; Т. 89. Ст. 2. С. 21–49.

Иван Загорский. Восемь месяцев в плену у горцев

Иван Загорский происходил из дворян Вольнской губернии Луцкого уезда. В 1837 году, будучи студентом Виленской медико-хирургической академии, вступил в «тайное общество» студентов этого учебного заведения, в 1839 году по приговору военного суда был лишен всех прав состояния и сослан на Кавказ рядовым. Служил в Черноморском линейном 10-м батальоне, участвовал в военных действиях. В 1846 году произведен в прапорщики, в 1848 году – подпоручик, в 1850 году – поручик.

Об Иване Загорском упоминает другой поляк – Карол Калиновский. В своей книге «Памятник моей военной службы на Кавказе и плена у Шамиля с 1844 до 1854 гг.» в разделе «Поляки в Дагестане» в главе «Лекарь поневоле» он писал: «Иван Загорский в 1842 году оказался в плену у горцев. Через горы и долины его привели к Шамилю и заключили в подземелье, где поляк попал в среду таких же несчастных, как он сам.

Прошли дни, недели, месяцы – никто не собирался их вызволить. Пленные страдали кишечными заболеваниями. Но к их счастью Иван Загорский имел медицинское образование. По просьбе товарищей он обратился к имаму, чтобы ему разрешили собрать лекарственные растения. Шамиль дал согласие. Загорский из собранных в окрестностях Ведено трав готовил настой, поил товарищей и, как он сам рассказывает: „Все мои больные выздоровели“.

К тому, что написал выше, добавлю, что туземные лекари помогали Загорскому, где и как искать необходимые травы, а поляк, в свою очередь, передавал им опыт медика, окончившего специальное учебное заведение».

Тысяча восемьсот сорок второго года, на рассвете 22 марта, родные братья: владетель Кюринского ханства штабс-капитан Гарун-бек и назначенный нашим правительством помощником к правительнице Казикумухского ханства поручик Махмуд-бек изменнически открыли ворота Кумухского замка, защищаемого подполковником Снаксаревым, и предали гарнизон в руки Шамиля. Хлынула толпа мюридов и обезоружила нас. Подполковника Снаксарева и подпоручиков князя Орбелиани и Ананова потребовали к имаму, а нам велели готовиться к выступлению. Через полчаса всех нас: одного донского и пятерых линейных казаков, меня, волонтера Ивана Габаева и двух денщиков – под сильным конвоем, с пением «Ля-илляхи-иль-Алла», вывели из замка. Сопровождаемые криком и угрозами разъяренных врагов, мы проходили среди пылавших жилищ кумухцев, приверженных к России, в назначенное для нас помещение. Кроме нас, в числе пленных были еще 45 человек – 25 ахтынцев и 20 нукеров генерал-майора Ахмет-хана; для них было предназначено особое помещение. Во время нашего следования какому-то мюриду понравилась лошадь подполковника Снаксарева, и он, пользуясь правом победителя, хотел ее отнять у денщика, но начальник нашего конвоя, Юнус, один из наперсников Шамиля, увидев это самоуправство, кинулся на него с обнаженной шашкой. Мюрид выхватил винтовку, прицелился и хотел выстрелить, но не успел: другие мюриды мгновенно опрокинули его на землю и изрубили в куски.

Целый день место нашего заключения было осаждаемо любопытной толпой, которая брала нас и издевалась над нами. Под конец это надоело даже и надсмотрщику нашему, Ягье-Гаджи. Употребив бесполезно все меры увещания о том, чтобы толпа разошлась и оставила нас в покое, он, в заключение, вышел из терпения и выстрелил в зевак. Толпа мгновенно рассеялась. Вечером нас перевели в тот дом, где находился Шамиль. Здесь мы увидели, как бра-

тя-изменники и многие жители ханства, надев на головы белые чалмы – символ последователей духовной секты, главой которой был Шамиль, – являлись к имаму с изъявлением своей покорности; в числе их находился и Мамед, кади сугратльский, сбросивший теперь с себя личину приверженности к России, которой до сих пор прикрывал дружеские свои сношения с Шамилем. На другой день утром Шамиль, выйдя на балкон в небрежно накинутом на плечи полушубке, приказал позвать к себе офицеров и с презрительной улыбкой объявил им, что, до тех пор пока сын его, взятый в Ахульго, не будет ему возвращен, им нечего и думать о свободе. Напрасно подполковник Снаксарев старался вразумить его, что удовлетворение этого требования нисколько от нас не зависит, что правительству нашему потеря немногих воинов не так чувствительна, чтобы оно решилось их выручить под условием, им объявленным, и т. д. Шамиль заявил, что требование его неизменное, и удалился.

Вскоре мы были поражены ужасным зрелищем: во двор нашего жилища принесли окровавленную одежду ханских нукеров. Узнав, что эти несчастные сделались жертвами мести Шамиля, мы поневоле должны были и для себя ожидать той же участи – как неизбежного последствия его решения, объявленного Снаксареву. Крики толпившегося народа и вопли женщин вывели нас из раздумья. Мы обратили наши взоры в другую сторону и увидели, что к нам во двор привели аманатов, взятых по приказанию Шамиля в Казикумухском ханстве, которым он назначил место жительства в Андии; крики и вопли принадлежали их матерям и родственникам, которые, прощаясь с ними, неистово оглашали воздух. В числе знатнейших аманатов были: Омар-бек, престарелый отец тогдашнего казикумухского хана Абдурахмана; Абас-бек, сын Гарун-бека; прапорщик мирза Заху, сын кумухского Мустафы-кади, и многие другие. Наконец, около полудня, мы оставили Кумух, в котором заложено было основание нашему восьмимесячному несчастью. Непрерывный ряд дальнейших мучений, которым подвергали нас варвары, заставлял и заставляет удивляться лишь одному: как много может вынести слабая человеческая натура! При отправлении в дорогу у нас отняли все, кроме немногих денег, бывших у офицеров, оставив затем нам одну одежду, и то лишь необходимую. Кумухцы, до тех пор рабски покорные, при виде наших страданий и унижений громко изъявляли свое удовольствие. Пленные ахтынцы остались на месте. Впоследствии мы узнали, что они получили свободу. Вероятно, Шамиль это сделал не без цели – слышно было, что он намеревался идти в Самурский округ. Из ахтынцев был убит один только прапорщик Модла, потому что попытался бежать. Начальником нашего конвоя был некто Магома, уроженец какой-то деревни из окрестностей Чоха. Мамед, кади сугратльский, и Махмуд-бек рекомендовали его подполковнику Снаксареву, как самого надежного и преданного России лазутчика. Сопровождая начальника до Рогоджаба, Магома жестоким обращением и невероятными притеснениями, посредством которых как бы хотел нам доказать справедливость насмешки его рекомендателей, вполне уяснив нам, в чем именно заключалась его преданность русским. Судя по этому, можно было безошибочно вывести заключение о том, насколько он был нашим надежным лазутчиком.

С отчаянием в сердцах, ежеминутно готовые к смерти, мы углубились в горы. Истязания начались с первого же шага: конвойные наши, не обращая внимания на то, что мы были пешие, самым чувствительным образом заставляли нас поспевать за их лошадьми. Спустя некоторое время подполковник Снаксарев и князь Орбелиани выбились из сил и, падая от усталости, наотрез отказались следовать далее. Тогда конвоировавшие нас чеченцы посадили их верхом на своих запасных лошадей, не преминув получить за это довольно порядочную плату. Эта снисходительность несколько смягчила и прочих конвойных. Подвигаясь таким образом через горы и овраги, по дороге, годной только для выюков, вечером мы пришли на ночлег в какую-то деревушку, название которой не помню, отстоящую от Кумуха верстах в двадцати. Здесь, как и в двух предыдущих деревнях, которые нам встретились по пути, мы были свидетелями особенной радости жителей, которую возбуждало в них наше положение. На следующий день, 24 марта, мы выступили рано и в полдень прибыли в аул Бухты, лежащий на границе Казик

кумухского ханства и Андалаяльского общества, у подножия возвышающейся с севера утесистой горы, на которой была построена башня; на восток, по ту сторону дороги, сверкал небольшой пруд. Жители аула Бухты встретили нас несколько человечнее и без признаков ненависти. Отсюда дорога становится лучше, хотя горы постепенно увеличиваются. Вступив в ущелье, мы следовали вдоль по течению ручья, по тропинкам, удобопроходимым только для горцев и для их лошадей. На закате солнца мы прибыли в аул Могоб, имеющий около двухсот дымов и лежащий в ущелье, на левом берегу ручья, между обрывистыми скалами. Здесь мы остановились на ночлег и со стороны жителей встретили все то же равнодушие.

Двадцать пятого марта, с рассветом, мы держали путь к северо-западу и по едва проходимым горам достигли реки Каракойсу. Окрестности покрыты мелким кустарником; крупной растительности нет. В ущелье, где протекает река, видны следы с трудом проложенной дороги, не допускающей даже езды верхом. По пути мы видели, в стороне, много аулов, но через них не проходили: как кажется, вожатые наши избегали населенных мест. Переправясь через Каракойсу и взбираясь верст восемь на гору по крутому подъему, мы достигли, наконец, Рогоджаба. Этот аул, численностью около пятисот дымов, расположен на высокой равнине и огражден с северной и западной сторон ущельями, пересекающимися под острым углом. По ту сторону скрестившихся ущелий мы видели гору Гуниб, на которой тогда по приказанию Шамиля возводился укрепленный аул. Жители Рогоджаба встретили нас очень враждебно: мужчины ругали, женщины плевали, дети бросали в нас камни. Дав вздохнуть своим лошадям, о которых было более заботы, чем о нас, конвойные продолжали путь. Отсюда идет дорога ровная и удобная даже для движения орудий. Она вела на одну из самых высоких гор, где мы мгновенно очутились по колени в снегу, объятые нестерпимым холодом, и это было тем чувствительнее, что одежда наша, благодаря усердию горцев, была вовсе не зимняя. С этой горы идет спуск к аулу Тилитль. Поздно вечером, пройдя в этот день около пяти верст, мы вступили в Тилитль, который получил свое название от горы того же имени, иначе называемой в просторечии «Чемодан». Это один из самых неприступных пунктов, всегда покрытый снегом. Аул до трех тысяч домов; многие из них оставались полуразрушенными, напоминая тем наше посещение их в 1837 году. Тилитль построен на неровной покатоности гор, окружающих его с севера и востока в виде амфитеатра; с южной стороны он имеет глубокое ущелье. Поздняя ночь и сильный холод избавили нас от всяких встреч с жителями, вследствие чего мы вошли в аул тихо и первую ночь провели почти спокойно. На другой день, рано утром, мы начали спускаться на равнину аула Голотль. Дорога была гладкая, но узкая; с правой стороны тянулась цепь высоких гор, с левой – овраги. Миновав Голотль и протекающую близ него реку Аварское Койсу, по деревянному и хорошо устроенному мосту, а также каменные завалы, мы шли вверх по левому берегу реки. Верстах в 10 от Голотля встретилась равнина, к которой примыкает цепь гор, называемая Талакори; на эти высоты мы поднялись по узкой тропинке, понукаемые и подгоняемые нашими вожакими. Во многих местах поперек дороги попадались узкие и глубокие провалы, которые мы переходили по каменным плитам. В полночь мы прибыли в Ботлих, сделав и в этот день около 50 верст. Ботлих, имеющий около 100 дымов, расположен на невысоком холме и со всех сторон окружен горами; природа дикая; везде мрачно и пустынно. Наутро, 27 марта, несмотря на нашу крайнюю усталость, нас принудили идти далее. Дорога потянулась по ущелью, образуемому хребтом Талакори, вверх по левому берегу незначительного ручья. Пройдя верст 30 и через несколько деревень, лежавших нам по пути, нас привели, с закатом солнца, в аул Ахвах, имеющий дымов 300 и лежащий на правом берегу какой-то речки, впадающей в Андийское Койсу, у подножия возвышающихся к северо-востоку гор; поперек этого аула пролегал глубокий овраг. В Ахвахе мы встретили русского солдата, попавшего в плен еще в 1794 году, во время взятия графом Зубовым города Дербента⁵. Старик был уже магометанином, потому

⁵ Дербент был взят 10 мая 1796 года. – *Изд.*

что позабыл свою религию, женат и имел трех взрослых сыновей. Он говорил, что не хочет их женить, чтобы не затруднять их при переселении в Россию, когда Ахвах займут наши войска. Этого радостного дня он и земляки его, такие же пленные, ожидали с нетерпением, надеясь, что когда-нибудь да наступит же он. Мы с полной уверенностью подтвердили предположения старца и выразили возможные похвалы его любви и преданности родине. Между прочим, он нам передал, что партия беглых русских солдат, численностью до ста человек, странствует здесь, по аулам, с барабанным боем прославляя везде щедроты и гостеприимство Шамиля. Последний отдал приказание старшинам всех селений, чтобы эти изменники были везде принимаемы и угощаемы на счет жителей и чтобы исполняемы были все их требования. К сожалению, мы не могли узнать, кто предводительствует этой ватагой и каких полков сами дезертиры.

За Ахвахом у нас по пути лежал аул Карата, известный тогда своим пороховым заводом. Аул этот весьма многолюден, дымов до 400, и доступен менее других, потому что дорога к нему пересечена ущельями, укрепленными завалами и другими подобного рода искусственными сооружениями. От Караты до Инхели, имеющего 150 дымов, и оттуда до аула Конхидатль местность более или менее все та же, что и позади нас: те же овраги, ущелья, горы; все то же Андийское Койсу, горные притоки и ручьи. Разница лишь в том, что, по мере углубления внутрь гор, аулы усерднее укреплены завалами, доказывающими предусмотрительность имама на случай появления здесь русских. У Конхидатля наше внимание было остановлено на солеваренном заводе. Вся механика солеварения здесь несложная, но зато результаты ее для населения благодетельны, ибо отсюда расходится соль во все стороны гор, а в этом продукте горцы всегда ощущали особенную нужду. Этот солеваренный завод, пороховой завод в Карате и ружейный завод в ауле Кубачи невольно приводят к заключению, что нужда всему научит. И действительно, кавказский горец, замкнутый в своих тущобах, дикий, незнающий, дошел своим разумом, вследствие одной только необходимости, до умения извлечь у себя дома, в своих тущобах, все, что для него нужно. И никто его этому не учил, никто ему не давал на все это образцов; из самых неблагодарных мест, из самых грубых, сырых источников он сумел извлечь для себя то, что добывается у нас после долгих изысканий, сопряженных с большими затратами, и перерабатывается на заводах, стоящих десятки тысяч рублей. Выработка соли производилась у горцев следующим нехитрым способом: землю, насыщенную солью, всыпали в корыта с водой, затем, по прошествии некоторого времени, сливали особо рассол и отваривали. Выходила очень хорошая соль. Конхидатльцы очень зажиточны; своим благосостоянием они, бесспорно, обязаны соляному промыслу, доставляющему им доход от всех обществ Дагестана.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.